



РОМАН –  
ЛАУРЕАТ  
БУКЕРОВСКОЙ  
ПРЕМИИ

# Фортуна

Подлинный шедевр  
словесного мастерства  
и авантюрного сюжета, ничуть  
не уступающий классикам —  
Стендалю или Джойсу.

*Los Angeles Times Book Review*

А. С. БАЙЕТТ

18+



Антония Сьюзен Байетт

**Обладать**

«Азбука-Аттикус»

1990

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

## **Байетт А.**

Обладать / А. Байетт — «Азбука-Аттикус», 1990

«Обладать» – один из лучших английских романов конца XX века и, несомненно, лучшее произведение Антонии Байетт. Впрочем, слово «роман» можно применить к этой удивительной прозе весьма условно. Что же такое перед нами? Детективный роман идей? Женский готический роман в современном исполнении? Рыцарский роман на новый лад? Все вместе – и нечто большее, глубоко современная вещь, вобравшая многие традиции и одновременно отмеченная печатью подлинного вдохновения и новаторства. В ней разными гранями переливается тайна английского духа и английского величия. Но прежде всего, эта книга о живых людях (пускай некоторые из них давно умерли), образы которых наваждением сходят к читателю; о любви, мятежной и неистовой страсти, побеждающей время и смерть; об устремлениях духа и плоти, земных и возвышенных, явных и потаенных; и о божественном Плане, который проглядывает в трагических и комических узорах судьбы человеческой... По зеркальному лабиринту сюжета персонажи этого причудливого повествования пробираются в таинственное прошлое: обитатели эпохи людей – в эпоху героев, а обитатели эпохи героев – в эпоху богов. Две стихии царят на этих страницах – стихия ума, блеска мысли, почти чувственного, и стихия тонкого эротизма, рождающегося от соприкосновения грубой материи жизни с нежными тканями фантазии. «Обладать» занимает уникальное место в истории современной литературы и, при своем глубоком национальном своеобразии, принадлежит всему миру. Теперь, четверть века спустя после выхода шедевра Байетт, кажется мало Букеровской премии, присужденной в 1990 году. Как, может быть, мало и ордена Британской империи, врученного автору чуть позднее...

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

© Байетт А., 1990

© Азбука-Аттикус, 1990

## Содержание

Глава 1	8
Глава 2	14
Глава 3	23
Глава 4	33
Глава 5	59
Глава 6	77
Глава 7	93
Глава 8	104
Конец ознакомительного фрагмента.	107

# А. С. Байетт

## Обладать

*Посвящается Изобель Армстронг*

*Когда писатель называет своё произведение «романтическим романом», стоит ли пояснять, что тем самым он притязает на некоторую вольность в рассуждении манеры и материала, на какую не смел бы посягать, если бы объявил, что пишет роман реалистический. Сей последний род сочинений, как принято считать, стремится к обстоятельнейшей достоверности в изображении не только что возможных, но и правдоподобных, обыденных событий человеческой жизни. Первый же род, хотя и обязан он, будучи произведением искусства, неукоснительно подчиняться правилам и хотя всякое уклонение от истины в изображении душевного мира для него есть грех непростительный, всё же он в известной степени позволяет представить такую истину в обстоятельствах большей частью выбранных или придуманных сочинителем... Этот роман следует отнести к романтическим на том основании, что здесь делается попытка связать прошедшее с ускользающим от нас настоящим.*

**Н. Готорн,**

**из предисловия к роману «Дом о семи фронтонах»**

*Но если, истончившись, оболочка  
Раздувшегося вымысла нам явит  
Реальность под собой – что мы увидим?  
Погиб ли прежний мир? Вас окружают  
Достойнейшие: доблесть, юность, гений —  
Угодно ли? – вот знатность, вот богатство.  
Свои законные права к стопам  
Слагают вашим, почитают вас  
(То бишь меня) товарищем и братом.  
Теперь они со Сляком заодно:  
Ну прямо скажем, мною одержимы...*

*Всё может стать. Лишь прилгни чуть-чуть —  
Всё сбудется. Выходит, Сляк обманищик?  
Но чем, скажите, он поэт хуже,  
Поющего о вымышленных греках,  
Их подвигах под вымышленной Троей?..  
Да что поэзия! Возьмите прозу.  
Разносчики-то мудрости эсительской  
Обходятся ли без сподручной лжи?  
Всяк преподносит истины и были,  
В них то лишь оставляя, что согласно  
С его же мнением, прочее – долой.*

*Век ящеров, история народов,  
Индейцы дикие, война в Европе,  
Жером Наполеон – что вам угодно.  
И всё – как хочет автор. Вот таким  
И деньги, и хвала: они-де в камень*

*Вдохнули жизнь, зажгли огнём туман,  
Былое воскресили в настоящем.  
Все ахают: «Как вы сыскали нить,  
Что вас вела по этим лабиринтам?»,  
«Как вы из воздуха слепили явь?»,  
«Как вы на столь мизерном основании  
Воздвигли жизнеописание, повесть?»,  
Иначе говоря: «Из скольких лжесей  
Величественную сплели вы правду?»*

*Роберт Браунинг,  
из поэмы «Мистер Сляк, „медик“»*

A. S. Byatt  
POSSESSION  
Copyright © 1990 by A. S. Byatt  
All rights reserved

© В. К. Ланчиков, Д. В. Псурцев, перевод на русский язык, 2015  
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015  
Издательство ИНОСТРАНКА®

## Глава 1

*Там, в месте том, – сад, дерево и змей,  
Свернувшийся в корнях, плоды златые,  
И женщина под сению ветвей,  
И травистый простор, и вод журчанье.  
Всё это есть от веку. На краю  
Былого мира в роще заповедной  
У Гесперид мерцали на извечных  
Ветвях плоды златые, и дракон  
Ладон топорщил самоцветный гребень,  
Скрёб когтем землю, щерил клык серебряный,  
Дремал, покуда ловкий Гераклес,  
Его сразивши, яблок не похитил.*

*Рандольф Генри Падуб,  
из поэмы «Сад Прозерпины», 1861*

Книга была толстая, в чёрном пыльном переплёте. Крышки переплёта покособились и поскрипывали. Прежние владельцы обращались с книгой не очень-то бережно. Корешок отсутствовал – вернее, он был, но торчал из книги, зажатый между страницами, как пухлая закладка. Книга была несколько раз перехвачена грязной белой тесьмой, завязанной аккуратным бантиком. Библиотекарь передал книгу Роланду Митчеллу, который дожидался её в читальном зале Лондонской библиотеки. Книгу извлекли на свет божий из тёмных недр сейфа № 5, где она стояла между «Проказами Приапа» и «Любовью в греческом вкусе». Происходило всё это сентябрьским днём 1986 года в десять часов утра. Роланд хорошо видел часы над камином, хотя маленький столик, за которым он расположился – любимое место, – скрывался от зала за квадратной колонной. Из высокого окна справа лился солнечный свет, а за окном зеленели кроны деревьев на Сент-Джеймской площади.

В Лондонскую библиотеку Роланд заходил с особенным удовольствием. Пусть обстановка тут и не радовала глаз, зато имелись хорошие условия для работы; всё здесь дышало историей. Заглядывали сюда и ныне здравствующие поэты и мыслители, посиживали на решетчатых подставках под стеллажами, вели увлекательные споры на лестничных площадках. Тут работал Карлейль, тут бывала Джордж Элиот, поглощавшая книгу за книгой, – Роланд так и видел, как подол её чёрной шёлковой юбки или бархатный трен ползёт по полу между стеллажами с книгами Отцов Церкви, так и слышал, как позвякивают от её твёрдой поступи металлические ступени лесенки у полок с немецкой поэзией. Заходил сюда и Рандольф Генри Падуб, именно здесь отыскивал он пока не осмысленные мелкие факты, которые переполняли его восприимчивый ум и бездонную память, – множество сведений из разделов «История» и «Топография», множество тем из «Естественных наук» и «Разного», составлявших благодаря алфавитному принципу затейливые сочетания: «Дальтонизм», «Денежные системы», «Деторождение», «Дилижансы», «Домашняя прислуга», «Досуг», «Дрессировка», «Дьявол и демонология». А работы по теории эволюции в те годы числились по разделу «Человечество до Адама». Роланд лишь недавно узнал, что в Лондонской библиотеке имеется экземпляр «Оснований новой науки» Вико, принадлежавший некогда Падубу. К сожалению, книги из домашней библиотеки Падуба рассеялись по разным странам Европы и Америки. Самая значительная их часть хранилась, конечно же, в Нью-Мексико, в Стэнтовском собрании Университета



Роберта Дэйла Оуэна\*,<sup>1</sup> где работал Мортимер Собрайл, готовивший фундаментальное Полное собрание писем Рандольфа Генри Падуба. Правда, сегодня расстояния не помеха: книги перемещаются в пространстве со скоростью звука и света. Но как знать, не обнаружатся ли в Падубовом экземпляре Вико маргиналии, неизвестные даже дотошному Собрайлу. Очень было бы кстати: Роланд как раз выявлял источники поэмы Падуба «Сад Прозерпины». И какое это будет наслаждение – читать те же самые строки, что когда-то читал Падуб, листать страницы, к которым прикасались его пальцы, по которым пробегали его глаза.

Сразу было видно, что книгу не доставали уже очень давно – возможно, с тех самых пор, как она обрела покой в библиотечном сейфе. Библиотекарь клетчатой суконкой смахнул с книги пыль – чёрную, густую, въедливую пыль Викторианской эпохи, взвесь из тумана и дыма, успевшую накопиться до принятия законов о чистоте воздуха. Роланд развязал тесьму. Книга сама собой распахнулась, как шкатулка, явив на обозрение разрозненные выцветшие листки бумаги – голубые, желтоватые, серые, испещрённые ржавыми строчками, бурыми записями, которые нацарапало стальное перо. Знакомый почерк. У Роланда захватило дух: кажется, заметки о прочитанном, сделанные на обратной стороне старых счетов и писем. Похоже, сказал библиотекарь, к ним никогда не притрагивались. Края листов с записями, выступающие за обрез книги, словно закоптились дочерна и напоминали траурную кайму на извещениях о похоронах. Чернота была отмежёвана точно по линии обреза.

Роланд спросил, можно ли ему прочесть эти записки. Чтобы у библиотекаря не закралось никаких сомнений, он отрекомендовался: младший научный сотрудник, работает под руководством профессора Аспидса, который с 1951 года редактирует Полное собрание сочинений Падуба. Библиотекарь на цыпочках пошёл звонить начальству, а мёртвые листки по-прежнему чуть заметно шевелились и шуршали, словно после освобождения в них снова затеплилась жизнь. Листки, которые оставил в книге Падуб... Вернувшийся библиотекарь подтвердил: да, Роланду разрешается работать с записями, при условии, что он не нарушит последовательности вложенных листков, чтобы потом можно было составить их опись. И если вдруг Роланд обнаружит что-нибудь важное, пусть сообщит библиотекарю.

Разрешение это было получено к половине одиннадцатого. Следующие полчаса Роланд бессвязно рылся в томе Вико, выискивая упоминания о Прозерпине и одновременно почитывая заметки Падуба. А читать их было нелегко: Падуб делал записи на разных языках, притом крохотными, почти печатными буквами – не сразу заметишь сходство с тем разгонистым почерком, которым были написаны его стихи и письма.

В одиннадцать Роланд наконец отыскал место в книге, которое, кажется, имело отношение к его теме. Вико пытался разглядеть за поэтическими метафорами, легендами и мифами исторические факты и увязать эти образы в одну картину – в этом и состояла суть его «новой науки». Прозерпина в его понимании олицетворяла зерно хлебных злаков – источник торговли и общественного начала. Рандольф Генри Падуб же, как считалось, выразил в образе Прозерпины религиозные сомнения человека Викторианской эпохи, свои собственные мысли, навеянные мифами о воскресении. На картине лорда Лейтона\* Прозерпина – это летящая по чёрному тоннелю золотистая фигура с видимыми признаками душевного смятения. Аспидс полагал, что Падуб видел в ней воплощение самой истории – её начального этапа, который описывается в мифах. (Перу Падуба принадлежали два стихотворения об историках, мало похожих друг на друга: одно о Гиббоне\*, другое о Беде Достопочтенном\*. Аспидс даже написал статью о Р. Г. Падубе и отражении историографии в его творчестве.)

Сопоставляя текст поэмы Падуба с переводом труда Вико, Роланд делал выписки на каталожных карточках. Перед ним стояли две коробки таких карточек – ярко-оранжевая и

<sup>1</sup> Комментарии к именам собственным, отмеченным \*, даны в конце книги в алфавитном порядке. (Здесь и далее примеч. перев.)

густо-зелёная, травяного оттенка; пластиковые петли карточек своим потрескиванием нарушали тишину читального зала.

Колосья называли золотыми яблоками, и это, вероятно, было единственное известное человечеству золото, ибо о золоте-металле тогда ещё не слышали... Поэтому золотое яблоко, которое Геркулес добыл – или вернул – из сада Гесперид, скорее всего, было не что иное, как зёрна злаков, и у галльского Геркулеса из уст исходят золотые цепочки, концы которых прикованы к ушам людей,<sup>2</sup> – это, как мы увидим ниже, изображает миф об обработке полей. По этой причине Геркулес считался божеством, благосклонность коего открывала путь к богатству, богом же богатства был Дит (тождественный Плутону), умчавший Прозерпину (она же Церера, или зерно) в подземное царство, описанное поэтами, которые именуют его то Стиксом, то царством мёртвых, то недрами пашни... Это золотое яблоко великий знаток героических преданий древности Вергилий и превратил в золотую ветвь, которую Эней берёт с собою в Подземный мир, или Преисподнюю.

Рандольф Генри Падуб, описывая Прозерпину, отмечает: «полумрак ей кожу позлатил» и называет её «как колос, золотая». А вот ещё: «Окованная звеньями златыми...» – это, наверно, про какие-нибудь ювелирные украшения, цепочки. Роланд аккуратно внёс перекрёстные ссылки в карточки с рубриками «злаки», «яблоки», «цепь», «богатство». Страница тома Вико, на которой он нашёл этот отрывок, была согнута пополам, внутри лежал счёт за свечи. На обороте его Падуб записал: «Личность приходит в мир на короткий миг, вступает в круг людей мыслящих, привносит новое и умирает, но биологический вид продолжает жить и пожинает плоды быстротечного её бытия». Роланд переписал эту фразу, выбрал чистую карточку и набросал вопросы, на которые предстояло найти ответ: «Разобраться. Цитата или собственная мысль? Биологич. вид – Прозерпина? Очень в духе XIX в. Или Прозерпина – личность? Когда оставлены заметки? Когда написаны – до или после „Происхождения видов“? Хотя это ничего не даст. М. б., он думал о Развитии в широком смысле...»

Было уже четверть двенадцатого. Тикали часы, в лучах солнца кружились пылинки, Роланд размышлял о том, что изнурительная и колдовская тяга к познанию влечёт нас по пути, которому нет конца. Он сидел, пытаясь восстановить очертания мыслей, вычитанных давно умершим человеком, а время шло: Роланду напоминали об этом не только библиотечные часы, но и посасывание под ложечкой (кофе в Лондонской библиотеке не продавали). Надо показать эти драгоценные находки Аспидсу. Тот будет то фыркать, то восторгаться, но всё же останется доволен, что книга лежит под замком в сейфе № 5, а не упорхнула, как и многие другие раритеты, в Университет Роберта Дэйла Оуэна в Гармония-Сити. Как же не хочется рассказывать Аспидсу. Вот бы владеть этими сведениями в одиночку.

Упоминание о Прозерпине было на страницах 288–289. А на странице 300 оказались два сложенных листа писчей бумаги. Роланд осторожно развернул их. Он сразу узнал плавный, летящий почерк Падуба. Это были письма, на обоих значился адрес Падуба – Грейт-Рассел-стрит, – оба помечены 21 июня. Год не указан. Оба начинались словами «Милостивая государыня!», оба без подписи. Первое гораздо короче второго.

*Милостивая государыня!*

*Мысли о нашей необычной беседе не покидают меня ни на минуту. Не так часто поэту, а может быть, и всякому смертному случается встретить собеседника, который соединял бы в себе столько готовности проникнуться чужими мыслями, столько ума и тонкости суждения. Я*

<sup>2</sup> Изображение, описанное в сочинении Лукиана «Про Геракла». «Галльский Геркулес» – кельтский бог Огма (Огмий).

*пишу, испытывая неодолимую потребность продолжить наш разговор, и, не раздумывая, ибо и Вы, как мне показалось, были так же взволнованы этой необычной* обращаюсь к Вам с просьбой: могу ли я навестить Вас как-нибудь на будущей неделе? Я чувствую, что мы с Вами непременно должны вернуться к нашей беседе, и уверенность эта не блажь, не самообман. Мне известно, что Вы редко бываете в обществе, и мне удивительно повезло, что любезный Крэбб залучил Вас к себе на завтрак. Какое счастье, что, несмотря на легкомысленное балагурство студиозусов и искусные рассказы Крэбба о примечательных происшествиях – в том числе тот, о бюсте, – нам удалось сказать друг другу так много важного. ~~Вы, без сомнения, разделяете то чувство, которое~~

Вот что было во втором письме:

*Милостивая государыня!*

*Я то и дело возвращаюсь в мыслях к нашей приятной и неожиданной беседе. Не будет ли у нас возможности возобновить её и поговорить более пространно, в обстановке не столь многолюдной? Мне известно, что Вы редко бываете в обществе, и мне чрезвычайно повезло, что любезный Крэбб залучил Вас к себе на завтрак. Я бесконечно признателен его доброму здравью, благодаря которому он и в восемьдесят два года находит в себе силы и желание поутру угощать поэтов и студентов, профессоров математики и политических философов и с привычным жаром рассказывать историю о бюсте, не задерживая его, однако, появления на столе гренков с маслом.*

*Не правда ли, удивительно, что мы с полуслова так хорошо поняли друг друга? А ведь мы поняли друг друга на редкость хорошо, Вы согласны? Или это плод разгорячённого воображения не слишком молодого и не слишком признанного поэта, который вдруг обнаружил, что его произведения с их потаённым, изощённо-внятным и непонятым смыслом – или, скорее, бессмыслицей, раз никто, как видно, не сумел добраться до этого смысла, – нашли наконец наблюдательного и увлечённого читателя и судью? Ваши мысли о монологе Александра Селькирка\*, Ваше верное постижение мятущейся души моего Джона Бенъяна\*, Ваше понимание страсти Инес де Кастро...\* которая была *resurrecta*<sup>3</sup> столь чудовищным образом... Но хватит этих вздохов больного самолюбия, хватит разглазговствовать о моих *personae*<sup>4</sup>, которые, как Вы справедливо заметили, вовсе не маски, скрывающие лицо автора. Я не хочу, чтобы Вы заключили, будто я ставлю Ваш тонкий слух и ещё более тонкий вкус не выше, а ниже своего. Непременно напишите Вашу историю о фее: Вы сделаете из этого сюжета что-то очень необычное и оригинальное. Кстати, не задумывались ли Вы о взглядах Вико на историю первобытных народов – о том, что боги древности, а позднее герои суть олицетворения судеб и устремлений народа, рождающиеся в уме простого человека? Тут есть над чем поразмыслить: ведь предание о Вашей фее связывают с невымысленными замками и возводят к действительно происходившим преобразованиям в земледелии – на современный взгляд это одна из любопытнейших сторон её истории. Впрочем, я опять за своё: Вы,*

<sup>3</sup> Воскрешена (лат.).

<sup>4</sup> Персонажах (лат.).

*с Вашим живым умом и приобретёнными вдали от суеты знаниями, без сомнения, сами придумали, как придать своей теме наилучшую отделку.*

*Возможно, Ваше понимание, как сладостный дурман, вскружило мне голову, но меня не оставляет чувство, что и Вы разделяете моё желание что нам обоим было бы полезно продолжить нашу беседу что нам необходимо увидеться. Я знаю Если я не ошибаюсь, Вы также нашли наше знакомство важным интересным и, как бы ни дорожили Вы своим уединением*

*Я понимаю, что Вы решились выехать лишь для того, чтобы навестить любезного Крэбба, который в нелёгкое для Вашего отца время поддержал этого блистательного учёного и оценил его труд. Вы выехали потому, что знали: Вас будут принимать в узком приятельском кругу. Всё так, но главное – Вы выехали, а значит, я могу надеяться, что, найдись важная причина, Вы согласитесь на время поступиться обыденным покоем ради*

*Я убеждён, что вы понимаете*

Роланд был потрясён. И сразу же в нём разыгрался литературовед. В голове сами собой замелькали предположения о времени и месте этого несостоявшегося диалога с неназванной женщиной. Год в письмах не указан, но они определённо написаны после публикации цикла драматических поэм Падуба «Боги, люди и герои». Поэмы вышли в 1856 году, и критика, вопреки надеждам, а может быть, и расчётам Падуба, отозвалась о них не слишком благоприятно: рецензенты объявили его произведения непонятными, вкус его – извращённым, а персонажей – вычурными и надуманными. В этот цикл и входили «Одинокие думы Александра Селькирка» – размышления моряка, заброшенного на необитаемый остров. Относились к этому циклу и «Лудильщик во пророках» – поэма, в которой воспроизводятся раздумья томящегося в тюрьме Беньяна о благодати Господней, и сцена, происходящая в 1356 году: причудливый, иступлённый монолог Педро Португальского, в котором он признаётся в любви набальзамированному телу своей убитой жены Инес де Кастро, – высохший, обтянутый бурой кожей труп всегда покачивался в карете рядом с королём, куда бы тот ни ехал: на голове – обхваченный золотым обручем кружевной убор, по платью – цепочки с алмазами и жемчугами, костлявые пальцы унизаны редкой красоты перстнями... Падуб охотно изображал героев, близких к безумию или обуянных безумием, создающих из обрывков жизненного опыта мировоззрение, которое помогает им выстоять.

Установить, что это за завтрак, не составит труда, скорее всего – один из приёмов, которые на склоне лет стал устраивать Крэбб Робинсон\*, чтобы студенты недавно основанного Лондонского университета могли в застольных беседах расширять свой кругозор. Архив Крэбба Робинсона хранился в Библиотеке доктора Уильямса на Гордон-сквер – здании, задуманном как Университетская ратуша; по замыслу Робинсона тут вольнослушатели получали возможность приобщаться к университетской жизни вне учебных аудиторий. Не так уж трудно – да нет, совсем не трудно справиться в дневнике Робинсона, когда Падуб присутствовал на завтраке в доме 30 на Рассел-сквер в обществе профессора математики, политического философа (не Баджот\* ли?) и некой затворницы, которая разбиралась в поэзии и сама писала или имела намерение писать стихи.

Кто же она такая? Кристина Россетти?\* Сомнительно. Вряд ли мисс Россетти пришлось бы по вкусу богословские построения Падуба и его взгляды на мужскую и женскую психологию. И что за «история о фее»? От всех этих загадок Роланд уже не в первый раз ощутил своё безграничное невежество: серый туман, а в нём то проплывает, то маячит что-то осязаемое, то блеснут купола, то чернеют в сумраке крыши...

Удалось ли Падубу завязать переписку? Если да, то где остальные письма, какие драгоценные сведения о его произведениях «с их потаённым, изощрённо-внятным и непонятым смыслом» могут в них содержаться? Не исключено, что, отыщись эти письма, филологам при-

дётся пересмотреть кое-какие устоявшиеся мнения. Ну а если переписка не завязалась? Если Падуб так и не нашёл слов, чтобы выразить своё настойчивое желание? Настойчивость – вот что поразило и взволновало Роланда больше всего. А он-то думал, что знает Падуба неплохо – насколько вообще можно знать человека, замкнувшегося в мире своих мыслей, сорок лет прожившего с женой как примерный семьянин, оставившего после себя гору писем, но писем сдержанно-учтивых, не отмеченных какими-то особыми страстями. И такой Рандольф Генри Падуб Роланду нравился. Его восхищало яростное горение духа и широчайшая эрудиция, заметные в творчестве Падуба, и в глубине души ему было приятно, что эти качества выработались благодаря такому степенному, такому безбурному существованию.

Он перечитал оба черновика. Было ли письмо наконец написано и отправлено? Или первый порыв угас, был отринут? И тут Роланда самого захлестнул странный, неожиданный для него порыв. Нет, не может он оставить эти полные жизни слова в томе Вико, на странице 300, и сдать на хранение в сейф № 5. Он огляделся: никто не видит. Тогда он украдкой сунул письма в книгу, с которой никогда не расставался, – оксфордское издание «Избранного» Падуба – и снова занялся карточками. Он методично выписывал самое интересное, пока на лестнице не послышался звон колокольчика, извещающий о закрытии читального зала. Заработавшись, Роланд даже не выкроил времени перекусить.

Он собрал коробки с карточками, сунул под них «Избранное» и направился к выходу. Дежурные за столиком выдачи книг дружески ему закивали. Роланд был тут завсегдатаем. Заподозрить его в порче книг или краже никому и в голову не приходило. Он вышел из библиотеки, как обычно, с толстым обшарпанным портфелем под мышкой. На Пиккадилли сел в двухэтажный автобус № 14 и, прижимая к себе добычу, поднялся вверх. Как всегда по дороге домой – жил он в Патни, в полуподвальном этаже ветшающего дома викторианских времён, – сперва на него напала сонливость, потом она сменилась какой-то лихорадочной ясностью, а там уже подступали тревожные мысли о Вэл.



## Глава 2

*Человек – это история его мыслей, дыхания и поступков, телесного состава и душевных ран, любви, равнодушия и неприязни, история его народа и государства, земли, вскормившей и его, и предков его, камней и песчинок знакомых ему краёв, история давно отгремевших битв и душевных борений, улыбок дев и неспешных речений старух, история случайностей и постепенного действия непреложных законов – история этих и многих других обстоятельств, один язычок огня, который во всём живёт по законам целого Пламени, но, вспыхнув единожды, в своё время угаснет и никогда больше не загорится в беспредельных просторах будущего.*

Так писал Рандольф Генри Падуб примерно в 1840 году, когда работал над поэмой в двенадцати книгах под названием «Рагнарёк, или Гибель богов», которую одни восприняли как христианский взгляд на скандинавскую мифологию, а другие громили за атеизм и недостойную христианина безысходность. Рандольфу Падубу действительно важно было разобраться, что такое человек, но, вообще-то, он запросто мог бы написать это загромождённое, как мебельный склад, предложение совсем по-другому, заменить слова, сочетания и ритмический рисунок и заключить той же добротной уклончивой метафорой. Так, по крайней мере, казалось Роланду, натасканному по части постструктуралистской деконструкции сюжета. А вот на вопрос, кто такой Роланд Митчелл, ему бы пришлось ответить иначе.

В 1986 году ему исполнилось двадцать девять. Митчелл окончил лондонский колледж Принца Альберта (1978) и в том же университете получил степень доктора философии (1985). Его докторская диссертация называлась «История, историки и поэзия? Изображение исторических „свидетельств“ в поэмах Рандольфа Генри Падуба». Научным руководителем был Джеймс Аспидс, работая под началом которого можно было охладеть к любой теме. Сам Аспидс давно охладел ко всему, и ему доставляло удовольствие расхолаживать окружающих. (Зато уж как учёный он отличался добросовестностью.) Роланд работал в возглавляемом Аспидсом Центре исследования творчества Р. Г. Падуба, который окрестили «Падубоведник». («Лучше бы „Синклит Его Преподубия“», – заметила как-то Вэл.) Размещался центр в Британском музее, куда вдова Падуба Эллен передала значительную часть его рукописей. Кое-какую финансовую поддержку оказывал Падубоведнику Лондонский университет, но гораздо большие средства поступали из Альбукерке, от Фонда Ньюсома – благотворительной организации, одним из попечителей которой состоял Мортимер Собрайл. Казалось бы, в своём стремлении увековечить память Падуба Аспидс и Собрайл действуют рука об руку. Но не тут-то было. Аспидс подозревал, что Собрайл имеет виды на хранящиеся в Британской библиотеке, но не принадлежащие ей рукописи и, разыгрывая щедрость и заботливость, пытается втереться в доверие к законным владельцам. Шотландец Аспидс был убеждён, что рукописи британца должны оставаться в Британии, чтобы их изучали британцы. Может показаться странным, что ответ на вопрос: «Кто такой Роланд Митчелл?» – начинается с разбора непростых отношений Аспидса, Собрайла и Падуба, но, задумываясь о своём положении, Роланд чаще всего видел себя именно в этом соседстве. Во всех остальных случаях «соседством» становилась Вэл.

Роланд считал, что родился слишком поздно. Он едва застал разлитые в воздухе возбуждение, непоседливость, юность, бодрость, ушедшие вместе с шестидесятыми, – радостную зарю нового дня, который заранее представлялся ему и его сверстникам довольно-таки тусклым. В психоделические годы он был ещё школьником и жил в захудалом ланкаширском городишке, примечательном разве что текстильными фабриками, вдали от шума Ливерпуля и сутолоки Лондона. Отец Роланда служил мелким чиновником в совете графства. Мать окончила факуль-

тет английского языка и литературы и разочаровалась в своей специальности. Если самому себе Роланд казался ходячим заявлением о приёме – на работу, в колледж, в кандидаты на место под солнцем, – то мать в его глазах была воплощённым разочарованием. В чём она только не разочаровывалась! В нём, в его отце, в себе. В бешенстве от собственной неудачливости, она употребила всю силу этого бешенства на то, чтобы дать сыну приличное образование. Образование Роланд получил в Единой школе Анайрина Бивана, слепленной на скорую руку из Гласдейлской старой классической школы, англиканской средней школы Фомы Беккета и Современной Технической школы гильдии швейников, и учёба сопровождалась непрерывной бегом из здания в здание. Мать пристрастилась к крепкому портеру, совсем заиклилась на «приличном образовании» и постоянно заставляла Роланда менять основной предмет: работы по металлу на латынь, гражданское законодательство на французский, устраивала его разносить почту и на вырученные деньги нанимала ему репетитора по математике. Так что в конце концов он получил самое заурядное классическое образование с пробелами из-за сокращения того или другого преподавателя и ералаша на том или другом занятии. Но ожидания Роланд оправдывал всегда: среднюю школу окончил на одни пятёрки, диплом получил с отличием, защитил диссертацию. Сейчас постоянной работы у него не было, и он перебивался случайными заработками: вёл индивидуальные занятия со студентами своего колледжа, состоял на побегушках у Аспидса и мыл посуду по ресторанам. В богатые возможностями шестидесятые он и сам не заметил бы, как в два счёта сделал карьеру, но времена изменились: он уже поставил на себе крест и склонялся к мысли, что сам виноват в своих неудачах.

Роланд был человеком некрупного сложения, с поразительно чёрными, очень мягкими волосами и мелкими правильными чертами. Вэл звала его Кротишка. Прозвище ему не нравилось, но он помалкивал.

Жил он вместе с Вэл. Они познакомились на чаепитии, которое Студенческий союз устроил для первокурсников. Роланду тогда было восемнадцать. Сегодня ему казалось – впрочем, может, это просто мифотворчество от забывчивости, – что Вэл в его новой студенческой жизни была первым человеком, с которым он заговорил – не об учёбе, а так, вообще. Как он вспоминал, ему сразу понравился её взгляд – неуверенный взгляд бархатных карих глаз. Она стояла в сторонке с чашкой чая в руках и, никого вокруг не замечая, сосредоточенно смотрела в окно, словно не ждала, что к ней подойдут, да и не искала собеседников. Весь её вид навевал покой, умиротворял, и Роланд подошёл к ней и завязал разговор. И с тех пор они и минуты не пробыли порознь. Записывались на одни и те же курсы, в одни и те же студенческие общества, вместе сидели на семинарах, вместе ходили в Национальный дом кино. Вместе спали, а на втором курсе вместе сняли себе однокомнатную квартиру. На питании экономили – ели овсянку, чечевицу, фасоль, йогурт; когда случалось побаловаться пивом, пили не спеша, чтобы растянуть удовольствие; книги покупали в складчину. Других доходов, кроме стипендии, ни у неё, ни у него не было, а в Лондоне на стипендию не разгуляешься. А из-за нефтяного кризиса подрабатывать в каникулы стало уже невозможно. Роланд считал, что и диплом с отличием он получил не без помощи Вэл (это если не считать помощи матери и Рандольфа Генри Падуба). Ведь Вэл так надеялась, что Роланд его получит, всё время заставляла делиться соображениями о дипломной работе, обсуждала с ним каждую мелочь, постоянно угрызалась, что она, вернее, они так мало занимаются. Ссорились они очень редко и почти всегда по одной причине: Роланда тревожило, что она так дичится всех на свете – не высказывает собственную точку зрения на семинарах, а в последнее время и ему не рассказывает о своих мыслях. Раньше у неё было полно всяких заветных мыслей, и она с робкой лукавцей, словно подманивая или подначивая, делилась ими с Роландом. Были у неё любимые стихи. Как-то раз, когда они с Роландом лежали нагишом в его тёмной квартирке, она вдруг села в кровати и прочла строки Роберта Грейвза:

Полуслова: она сквозь полусон  
 Лепечет нежное из темноты,  
 Не поднимая век.  
 Земля на миг стряхнула зимний сон  
 И подарила травы и цветы —  
 И не беда, что снег,  
 Что сыплет снег.

У неё был небрежный ливерпульский выговор, подправленный лондонским произношением, как у «Битлз». Роланд попытался было заговорить, но она зажала ему рот. Да он и сам не знал, что сказать.

Постепенно Роланд стал замечать, что чем лучше идёт у него учёба, тем реже Вэл заводит серьёзные разговоры и тем чаще выговаривает в них его мысли – иной раз перелицованные наизусть, но всё же его собственные. Даже тему дипломной работы она выбрала такую: «Мужчина чревовещающий: Рандольф Генри Падуб и женщины». Роланд отговаривал. Пусть лучше напишет о чём-нибудь своём, заговорит собственным голосом, покажет всем, на что она способна. На это Вэл объявила, что он просто «издевается». Роланд удивился: почему это «издевается»? – но она, как уже не раз случалось при спорах, ответила молчанием. Роланд тоже не нашёл другого средства противодействия, кроме молчания, и они не разговаривали несколько дней. Был и совсем уж кошмарный случай, когда они проиграли в молчанку несколько недель – из-за того, что Роланд напрямик выложил, что он думает о «Мужчине чревовещающем». Но всякий раз напряжённое молчание разряжалось примирительными односложными репликами и мирное сосуществование восстанавливалось.

Между тем подошли выпускные экзамены. Роланд сдавал в срок и, как и следовало ожидать, успешно. Экзаменационные работы Вэл были написаны размашистым уверенным почерком, прекрасно оформлены, предельно лаконичны и бесцветны. Экзаменаторы признали, что «Мужчина чревовещающий» – работа добротная, но переоценивать её не стоит, потому что к ней наверняка приложил руку Роланд. Это было вдвойне несправедливо. Роланд её даже не прочёл и к тому же был не согласен с её главной мыслью: что Рандольф Генри Падуб не любил и не понимал женщин, что все героини, в уста которых он вкладывает свои поэтические монологи, – это воплощение его страхов и агрессивности, что даже в цикле поэтических посланий «Аск – Эмбле»<sup>5</sup> проявляется не любовь, а нарциссизм: поэт обращается к своей Аниме.<sup>6</sup> (Ещё ни одному биографу не удалось хоть сколько-нибудь доказательно установить, кто же был прототипом Эмблы.) Экзамены Вэл сдала неважно. Роланд думал, что на большее она не рассчитывала, но, к ужасу своему, обнаружил, что ошибался. Пошли слёзы, сдавленные всхлипы ночи напролёт, потом – первая вспышка ярости.

Вэл ненадолго съездила «домой». Это было их первое расставание с тех пор, как они поселились вместе. Дом – вернее, квартира в муниципальном доме, где Вэл жила с разведённой матерью, – находился в Кройдоне. Мать получала пособие для малоимущих, а иногда алименты, которые с большими перерывами присылал муж, работавший в торговом флоте. Последний раз он появлялся дома, когда Вэл было пять лет. Вэл ни разу не предлагала Роланду съездить к матери. Зато он уже дважды возил её к своим в Гласдейл. Там она помогала отцу Роланда мыть посуду и слушала, как мать ехидно отпускает шпильки насчёт их с Роландом образа жизни. Вэл и бровью не повела, а Роланду сказала:

<sup>5</sup> Аск («яшень»), Эмбла («ива») – в скандинавской мифологии первые люди на земле, оживлённые богами (асами) ива и яшень, найденные на берегу моря.

<sup>6</sup> Термин аналитической психологии К. Г. Юнга: персонификация женского начала в бессознательном мужчины.

– Да ладно тебе, Кротишка. Я это уже проходила. Моя вон ещё и пьёт. У нас на кухне только чиркни спичкой – так и заполыхает.

Едва Вэл уехала, Роланд точно прозрел и обратился в другую веру. Он неожиданно понял, что такая жизнь ему больше не по душе. Теперь он ночью ворочался сколько хотел, раскидывался по всей кровати, днём распахивал окна, ходил один в галерею Тейт любоваться размытой золотистыми лучами голубизной над замком Норман на картине Тернера. Пригласил к себе на жареного фазана своего противника во всех драках за академические лавры Фергуса Вулффа. Фазан оказался жёстким, напигованным дробью, но поболтали и посидели славно. Роланд начал строить планы – вернее, просто воображал, как бы здорово ему работалось бессонными ночами, будь он предоставлен самому себе: такой возможности у него ещё никогда не бывало. А через неделю вернулась Вэл. Вернулась заплаканная, с трясущимися руками и объявила, что хочет по крайней мере сама зарабатывать на жизнь и поступает на курсы машинисток-стенографисток.

– Слава богу, хоть тебе я нужна, – вздохнула она, и мокрое лицо её лоснилось от слёз. – Не знаю уж, зачем тебе такое ничтожество, а только нужна.

– Конечно нужна, – подтвердил Роланд. – Ещё как нужна!

\* \* \*

Стипендию Роланду больше не платили, и, пока он писал диссертацию, они жили на заработки Вэл. Она купила себе электронную пишущую машинку и вечерами перепечатывала научные статьи, а днём находила какую-нибудь временную секретарскую работу там, где платили побольше. Работа подворачивалась то в Сити, то в университетских клиниках, то в судопроизводственных компаниях, то в картинных галереях. Проще было бы работать по одному профилю, но Вэл не хотела. Её никакими силами нельзя было вывести на разговор о её работе, которую она называла не иначе как «халтура». «Мне тут перед сном надо ещё кое-какую халтуру попечатавать». А иногда выражалась совсем чудно: «Я сегодня по дороге на халтурку чуть не попала под машину». В голосе её стали проступать жёлчные нотки, которые показались Роланду знакомыми, и он первый раз в жизни задумался: а какой была его мать *до того*, как её постигло разочарование в лице мужа и в какой-то степени сына? По вечерам его изводила трескотня пишущей машинки, сбивчивая и поэтому особенно назойливая.

Теперь он видел рядом с собой двух Вэл. Одна, молчаливая, сидела дома в старых джинсах и длинных, вечно задирающихся рубашках из чего-то вроде крепа, усеянного мрачными чёрными и лиловыми цветочками. Тусклые каштановые волосы были распущены, из них смотрело бескровное лицо обитательницы подземелья. Лишь иногда на ногтях у неё расцветал пунцовый лак, оставшийся от другой Вэл, которая носила чёрную юбку в обтяжку, чёрный жакет с накладными плечами, а под ним шёлковую розовую блузку и тщательно накладывала розовато-коричневый макияж, погуще оттеняя скулы и сочные губы. Эта Вэл – Вэл-халтурщица во всём её траурном великолепии – ходила в туфлях на высоком каблуке и в чёрном берете. У неё были красивые ноги, дома вечно скрытые джинсами. Волосы она укладывала так, что получалась вполне сносная причёска «под пажа», а то подвязывала их чёрной лентой. Но до духов дело не дошло. Вэл с её внешними данными пикантность была недоступна. А жаль: Роланд бы только обрадовался, если бы её пригласил на ужин какой-нибудь воротила из торгового банка или какой-нибудь прощелыга-адвокат затащил в «Плейбой-клуб». Он сам ненавидел себя за эти постыдные мысли и резонно побаивался, как бы о них не догадалась Вэл.

Изменить хоть что-нибудь можно было лишь в том случае, если бы Роланд нашёл работу. Он всё пытался устроиться, но получал отказ за отказом. Когда открылась вакансия на его факультете, заявки подали шестьсот кандидатов. Роланда пригласили на собеседование – из вежливости, как ему показалось, – но досталась должность Фергусу Вулффу, который по всем

академическим показателям уступал Роланду, но мог блеснуть, мог оглушить до смешного напыщенными словесами, не нагонял тоску своей правотой, был любимцем преподавателей и приводил их то в бешенство, то в восторг. Самые оживлённые отзывы, которыми они удоставали Роланда, были степенные похвалы. У Фергуса оказалась подходящая специальность – теория литературы. Эта история возмутила не столько Роланда, сколько Вэл, и её возмущение огорчило Роланда больше, чем собственная неудача: Фергус был ему симпатичен, и он хотел сохранить в себе это отношение. Вэл, по своей привычке наделять всё на свете впредь уже несменяемыми прозвищами, налепила ярлык и Фергусу, ярлык неудачный и незаслуженный.

– Этот смазливый позёришка, – приговаривала она. – Это секс-бомбище блондинистое.

Ей нравилось вклеивать в речь выражения из лексикона облизывающихся самцов – бить врага его же оружием. Роланд недоумевал: Фергусу такая характеристика никак не подходила. Да, блондин, да, пользуется немалым успехом у женщин – но только и всего. К себе они Фергуса больше не приглашали, и Роланд опасался, как бы тот не подумал, что это Роланд с досады отказал ему от дома.

\* \* \*

Вернувшись в этот вечер домой, Роланд носом учуял, что Вэл в боевом настроении. По квартире тёплыми волнами разливался крепкий запах жареного лука: значит, она стряпает что-то этакое. Когда Вэл хандрила, когда у неё всё валилось из рук, она просто открывала консервы, варила яйца или в лучшем случае подавала авокадо со специями. Но если на неё накатывала бодрость или ярость, она бросалась стряпать. Вэл у мойки шинковала тыкву и баклажаны. На Роланда она даже не взглянула, и он понял, что настроение у неё не просто боевое, а воинственное. Стараясь не шуметь, он поставил сумку.

Их длинная сумрачная комната-пещера была выкрашена белой и бледно-оранжевой краской – Роланд и Вэл выбрали эти цвета, чтобы в комнате было не так мрачно. Обставлена комната была так: диван-кровать, два старых-престарых кресла с пыльной обивкой из фиолетового плюша, с изголовьями и гнутыми подлокотниками, закрученными на концах в резные спирали, выдавший виды письменный стол из морёного дуба, за которым работал Роланд, и ещё один письменный стол, поновее, из полированного бука – на нём стояла пишущая машинка. Столы, отвернувшись друг от друга, уткнулись в противоположные стены, каждый был оснащён настольной лампой на кронштейнах: у Роланда чёрная, у Вэл розовая. В торце комнаты прогибались под тяжестью книг полки стеллажа, сооружённого из досок и кирпичей. Книги – классические труды – были общими, кое-что оказывалось в двух экземплярах. На стенах плакаты: «Коран» из собрания Британского музея – причудливый геометрический орнамент – и афиша выставки Тернера в галерее Тейт.

У Роланда было три изображения Рандольфа Генри Падуба. Первое стояло у него на столе: фотография посмертной маски, одного из предметов, составляющих гордость Стэнтовского собрания в Гармония-Сити. Происхождение этого мрачного широколобого изваяния оставалось загадкой. Ведь усопший на фотографиях запечатлён со своей патриархальной бородой. Кто её сбрил, когда? Этот вопрос задавал себе Роланд, этот вопрос исследовал Мортимер Собрайл в своей книге о жизни поэта «Великий Чревовещатель», но ответа никто не нашёл. Два других портрета – сделанные по заказу Роланда фотографии живописных полотен из Национальной портретной галереи – Вэл упрятала в тёмную прихожую. Она сказала, что не хочет всё время ловить на себе его взгляд, пора хоть немного пожить для себя, а то всё Падуб да Падуб.

В полумраке прихожей фотографии было не разглядеть. Один портрет принадлежал кисти Мане, другой написан Д. Ф. Уоттсом\*. Работа Мане относилась к 1867-му, когда художник приезжал в Англию, и отчасти напоминала его же портрет Золя. Живописец изобразил Падуба, с которым он познакомился ещё в Париже, восседающим вполоборота к зрителю за



письменным столом, в резном кресле красного дерева. Фоном служит нечто вроде триптиха, где на боковых створках выписаны листья папоротника, а посередине подводные заросли, в которых посверкивают розовой и золотистой чешуёй рыбы. Сначала кажется, что поэт расположился где-то в лесу, у подножия деревьев, но, как отмечал Мортимер Собрайл, скоро понимаешь, что фон – это разделённый перегородками стеклянный резервуар, в каких исследователи в Викторианскую эпоху изучали жизнедеятельность организмов: наблюдали растения в искусственных условиях, рыб в искусственных водоёмах. У Падуба на портрете Мане смуглое волевое лицо, крутой лоб, густая борода, в глубоко посаженных глазах светится затаённое, только ему понятное удовольствие. Это умный, осмотрительный человек, не склонный принимать скоропалительные решения. Перед ним на столе разложены разнообразные предметы: превосходный, изящный натюрморт под стать мастерски выполненной голове портретируемого и двусмысленной растительности фона. Тут и собрание неотшлифованных геологических образцов, в числе которых два камня почти правильной шарообразной формы, похожие на маленькие пушечные ядра, один чёрный, другой сернистого зеленовато-жёлтого цвета, тут и древние окаменелости: аммониты и трилобиты,<sup>7</sup> тут и большой хрустальный шар, и чернильница зелёного стекла, и кошачий скелет на подставке, и стопка книг – два названия можно разобрать: «Божественная комедия» и «Фауст», – и песочные часы в деревянной оправе. Чернильница, хрустальный шар, часы и две упомянутые книги, к которым добавились ещё две, чьи названия ценой кропотливых трудов удалось установить: «Дон Кихот» и «Основы геологии» Лайеля\*, – всё это попало в Стэнтовское собрание и экспонировалось в особом помещении, в той же обстановке, что и на картине Мане, на фоне стеклянного резервуара. Даже стол и кресло были подлинными.

Портрет работы Уоттса был не так отчётлив и достоверен. На этой картине, написанной в 1876 году, поэт выглядит старше и неземнее. Подобно фигурам на многих других портретах Уоттса, он весь охвачен порывом к духовному свету, который озаряет его голову, венчающую расплывчатое столпообразное тело. На фоторепродукции задний план потемнел и превратился в пелену мрака со сгустками и прогалинами, но на оригинале он более-менее различим: это какая-то скалистая местность. Самое примечательное на этом портрете – глаза, большие, сверкающие. И ещё борода – многоструйный поток серебристого, млечного, сизого, ручейки и развилины – совсем как буйно-курчава борода Леонардо да Винчи на автопортрете, от которой, кажется, исходит свет. Борода Падуба казалась светящейся даже на репродукции. Роланд находил, что на фотографиях портреты вышли не только более строгими, но и какими-то более жизненными, как и вообще всё на фотографиях. Более жизненными и менее живыми, не одушевлёнными цветом. Зато изображение стало реалистичнее – в сегодняшнем смысле слова, по сегодняшним представлениям. В сырой неухоженной комнате репродукции слегка поблекли. Но у Роланда не было денег заказать новые.

\* \* \*

Окно комнаты смотрело в тесный дворик, откуда по ступенькам можно было подняться в сад: он виднелся наверху, за оградой. Когда Роланд и Вэл пришли сюда по объявлению о сдаче квартиры, им было сказано, что это квартира с выходом в сад. Но выйти в сад им довелось только в то первое посещение: позже выяснилось, что всякие прогулки в саду им воспрещаются. Им даже возбранялось держать на площадке у своей двери растения в кадках. Объявила об этом домовладелица, восьмидесятилетняя миссис Ирвинг, тон её был категоричен, а объяснения невразумительны. Сама миссис Ирвинг занимала остальные три этажа, где стоял

<sup>7</sup> Аммониты – надотряд вымерших морских головоногих моллюсков. Трилобиты – класс вымерших морских членистоногих.

затхлый смрад от несметного полчища кошек, живших бок о бок с хозяйкой. Сад она содержала в чистоте и холе, зато скудно обставленная гостиная её была совершенно запущена. Вэл утверждала, что миссис Ирвинг заманила их на эту квартиру, как старая ведьма из сказки: повела в сад, расписала, какая тут тишина, угостила каждого золотым пушистым абрикосиком с деревьев, что росли на шпалерах вдоль изгибающейся кирпичной стены. Сад был вытянут в длину, тенистый, но не загустевший, с залитыми солнцем газонами в обрамлении самшитовых кустиков, отовсюду веяло благоухание роз – смуглых дамасских, нежно-розовых, чайных, – а по краям газона пестрели фантастическим узором тигровые и крапчатые лилии. Витая бронза и золото, броские, жаркие, пышные цвета. И всё под запретом. Но при первом посещении о запрете не было сказано ни слова. Вместо этого миссис Ирвинг своим приветливым надтреснутым голосом прочла целую лекцию о высокой кирпичной стене, построенной в годы гражданской войны – и даже раньше, в те времена, когда Патни был не пригородом Лондона, а просто деревушкой и стена обозначала границу владений генерала Фэрфакса\*, в те времена, когда здесь собиралось ополчение Кромвеля, когда в церкви Святой Марии, что на мосту, велись дебаты о свободе совести. В одном стихотворении Рандольф Генри Падуб воспроизводит речь, якобы произнесённую неким «копателем» во время дебатов в Патни.<sup>8</sup> Падуб нарочно приезжал сюда посмотреть на реку в пору мелководья. Эллен Падуб писала в своём дневнике про эту поездку, про завтрак на траве: жареный цыплёнок и пирог с петрушкой. Воспоминания о Падубе, о покровителе Марвелла\* генерале Фэрфаксе, обнесённый стеною сад, полный цветов и плодов, – и Роланд с Вэл не устояли перед соблазном снять квартиру с выходом в сад и видом на запретные красоты.

Когда наступала весна, сверху в окне брезжило жёлтое сияние – это распускались росшие плотным строем яркие нарциссы. К самому окну подкрадывались усики дикого винограда и, припадая круглыми присосочками к стеклу, со всей быстротой, на какую способно растение, спускались всё ниже и ниже. Иногда во дворик склонялись выбившиеся из-за ограды душистые ветки жасмина, который пышно цвёл возле самого дома. Но появлялась миссис Ирвинг в том самом садовом облачении, в котором когда-то завлекала квартирантов, – латаный-перелатанный твидовый костюм, фартук и сапоги, – появлялась и водворяла ветку на место. Однажды Роланд вызвался помогать ей по саду, а за это просил, чтобы она разрешила там иногда посиживать. В ответ он слышал, что в садоводстве не разбирается, что молодёжь нынче ничего не бережёт, а всё только ломает, что ей, миссис Ирвинг, дороже всего покой.

– То-то, наверно, кошки в саду хозяйничают, – предположила однажды Вэл.

А через некоторое время они заметили на потолке в кухне и в ванной сырые пятна. Роланд потрогал их пальцем, понюхал его и уловил отчётливый запах кошачьей мочи. Оказывается, кошки тоже томились под домашним арестом. Надо было бы подыскать другую квартиру, но заговаривать об этом первым Роланд не хотел: он иждивенец. И не нужно пока в их отношениях с Вэл никаких встрясок.

\* \* \*

Вэл поставила перед ним жаркое из барашка под маринадом, овощное рагу и греческий хлеб – большую горячую лепёшку.

– Может, за вином сбегать? – предложил Роланд, но Вэл резко, не деликатничая, ответила:

---

<sup>8</sup> Дебаты в Патни (октябрь 1647 г.), в которых участвовали солдаты и офицеры парламентской армии, касались новых основ общественных отношений после победы сторонников парламента. «Копатели» («диггеры») – представители крайне левого крыла революционной демократии в Английской революции – требовали уничтожения частной собственности и раздела всех благ.

– Спихватился! Пока пробегаешь, всё остынет.

Ели они за ломберным столиком, который потом складывали.

– Я сегодня сделал потрясающее открытие, – начал Роланд.

– Ну-ну.

– В Лондонской библиотеке. У них есть книга Вико из библиотеки Падуба. Его собственный экземпляр. Его в сейфе хранят. Я заказал, смотрю – в книге полным-полно собственноручных записей Падуба на всяких старых счетах. Между страниц. Я на девяносто процентов уверен, что их никто не читал. Как их засунули, так они и лежат. Края почернели как раз по обрез книги.

В ответ бесстрастное:

– Как интересно.

– Может быть, это переворот в науке. Точно-точно. Мне-то взглянуть разрешили, не отобрали. Про них наверняка никто не знает.

– Да уж конечно не знает.

– Надо рассказать Аспидсу. Он полезет проверять, есть ли там что-нибудь интересное, не успел ли Собрайл до них добраться.

– Да уж конечно успел.

Определённо она была не в духе.

– Прости, Вэл, я не хотел тоску нагонять. Но по-моему, страшно интересно.

– Это уж кого что греет. У каждого свои радости в жизни.

– Я про эту находку напишу. Статью. После такого открытия и работу будет легче найти.

– Работы никакой не осталось, – сказала Вэл и прибавила: – А если что и осталось, всё равно отдадут Фергусу Вулффу.

«Вэл в своём репертуаре», – подумал Роланд: он заметил, что это замечание давно вертелось у неё на языке, но она великодушно крепилась.

– Ну, если ты считаешь, что я занимаюсь ерундой...

– Ты занимаешься тем, что тебя греет. Как и всякий, кому повезло и кого хоть что-то греет. Ты возишься со своим мертвецом. Который возился со своими мертвецами. Ну и возись на здоровье, но не всем же на него молиться. А вот я просто халтурщица несчастная, но такого на своей халтуре нагляделась. На прошлой неделе в той фирме, что экспортирует керамику, беру со стола у начальника папку, а под ней фотографии. Как издеваются над мальчиками. Цепи, кляпы... Брр! На этой неделе у хирурга показываю класс – навожу порядок в регистратуре и вдруг натыкаюсь на историю болезни шестнадцатилетнего парнишки, которому в прошлом году ампутировали ногу. Сейчас ему делают протез – делают уже несколько месяцев, волынка страшная, – а у него на другой ноге началось то же самое. И он не знает. А я знаю. Я много чего знаю. Но всё какие-то обрывки, клочки, нелепости какие-то. Один тип полетел в Амстердам покупать алмазы, я помогала его секретарше заказать билет. Первым классом полетел, машина – блеск. И вот гуляет он по берегу канала, глазеет на фасады, а кто-то подошёл сзади и пырнул ножом. И всё: остался без почки, началась гангрена – и конец. Видишь, как просто. Вот так бывает с теми, на кого я халтуру: был – и нету. А записки Рандольфа Генри Падуба – это уж такая глухая древность. Так что прости, но мне нет никакого дела, что он там оставил в своём Вико.

– Послушай, Вэл, это страшно. Ты никогда не говорила...

– Ну что ты, это очень *интересно* – всякие там подробности, которые подсматриваешь на халтуре в замочную скважину. Только уж больно они нелепые, толку от них ни на грош. Я тебе, кажется, завидую: ты по крохам восстанавливаешь мировоззрение своего душки Падуба. Но тебе-то какой толк от твоих занятий, а, Кротишка? У самого-то у тебя есть мировоззрение? И как ты думаешь выбираться из этой дыры, в конце-то концов? Или так и проживем всю жизнь под потолком, с которого капает кошачья моча, так и будем *сидеть друг у друга на голове*?

Она чем-то расстроена, сообразил Роланд. Так расстроена, что несколько раз произнесла «греет» – словечко не из её лексикона. Может, кто-то её потискал? Или не захотел потискать? Нет, это подленькая мысль. Гнев, раздражение – это её стихия, это её «греет». Уж Роланд знает. Он вообще знает её чересчур хорошо, в том-то и беда. Роланд подошёл к Вэл и ласково погладил её шею. Вэл сердито фыркнула, нахохлилась, но скоро оттаяла. Чуть погодя они уже лежали в постели.

\* \* \*

Он так и не рассказал, так и не смог рассказать ей про свою тайком совершённую кражу. Поздно вечером в ванной он ещё раз пробежал оба письма. «Милостивая государыня! Мысли о нашей необычной беседе не покидают меня ни на минуту...», «Милостивая государыня! Я то и дело возвращаюсь в мыслях к нашей приятной и неожиданной беседе...» Настойчивые, недописанные письма. Пронзительные строки. До сих пор Роланда не слишком занимала давно закончившаяся телесная жизнь Рандольфа Генри Падуба. Тратить время на посещение дома на Рассел-стрит, сидеть, как, бывало, сиживал Падуб, на каменных ступенях в саду – это скорее в духе Собрайла. Роланду нравилось постигать работу ума Падуба, угадывать её в извилистом строе фразы, наблюдать, как она вдруг проступает в неожиданном выборе эпитета. Но эти мёртвые письма вызывали у него трепет – трепет прямо-таки физический. И всё из-за их незаконченности. В воображении возникал не Рандольф Генри Падуб, строчащий пером по бумаге, а только его пальцы, давным-давно истлевшие: вот они берут эти полуисписанные листки, складывают их, помещают в книгу. Письма не выброшены – сохранены... *Кто она?* Надо разобраться.

## Глава 3

*...В подземной мгле,  
Где Нидхёгг,<sup>9</sup> аспидночешуйный гад,  
У Древа-Миродержца средь корней  
Склубившись, гложет их густую вязь.*

*Р. Г. Падуб. Рагнарёк, III*

На другое утро, пока Вэл ещё наносила на лицо свою секретарскую раскраску, Роланд сел на велосипед и отправился в Блумсбери. Он ехал, с опасностью для жизни лавируя в автомобильном потоке, который растянувшимся на пять миль зловонным червячищем полз по мосту Патни, по Набережной, через Парламентскую площадь. Кабинет Роланда в колледже не был за ним закреплён, он просто занимал эту комнату с молчаливого согласия администрации, когда проводил индивидуальные занятия со студентами. Уединясь в тишине кабинета, Роланд распаковал нехитрый скарб, привезённый на багажнике велосипеда, и прошёл в подсобку, где возле мойки в чайных потёках, среди замызганных полотенец, примостился массивный ксерокс. Пока машина, урча и жужжа вентилятором, разогревалась, Роланд перечитал оба письма. Потом положил их на тёмное стекло, под которым прокатились зелёные сполохи. И машина выплюнула горячие, пахнущие химикатами листы со спектрограммами рукописных текстов: пустота по краинам вышла на копиях чёрной, как у подлинников, окаймлённых чернотой вековой пыли. Совесть его чиста: он записал свой долг факультету в журнале учёта, лежавшем на краю мойки. «Роланд Митчелл, 2 стр., 10 пенсов». Совесть его нечиста. Теперь у него есть добротные копии, и он может незаметно сунуть письма обратно в библиотечный том Вико. Может, но не хочет. Роланду уже казалось, что письма принадлежат ему. Он всегда с некоторым презрением поглядывал на тех, кто млеет при виде всякой реликвии, хранящей прикосновение кого-нибудь из великих: щегольской трости Бальзака, флажолета<sup>10</sup> Роберта Луиса Стивенсона, чёрной кружевной мантильи Джордж Элиот. Мортимер Собрайл имел обыкновение доставать из внутреннего кармашка золотую «луковицу» Рандольфа Генри Падуба и исчислять время по часам поэта. Ксерокопии Роланда были чётче и чище, чем выцветшие, рыжеватые-серые строки подлинника, на копиях чёрные строки отливали свежим лаковым блеском: по-видимому, машину совсем недавно заправили порошком. Пусть так, но расставаться с подлинниками Роланд не хотел.

Когда открылась Библиотека доктора Уильямса, Роланд отправился туда и запросил рукопись объёмистого дневника Крэбба Робинсона. Ему уже случалось здесь бывать, но, чтобы его вспомнили, пришлось сослаться на Аспидса, хотя у Роланда и в мыслях не было посвящать Аспидса в своё открытие – по крайней мере до тех пор, пока он не удовлетворит своё любопытство и не вернёт письма на место.

Получив дневник, Роланд сразу же открыл записи за 1856 год – год публикации цикла «Боги, люди и герои», который неутомимый Крэбб Робинсон прочёл и не оставил без отзыва.

*4 июня.* Читал драматические поэмы из новой книги Рандольфа Падуба. Особенно примечательными нашёл три, где речь ведётся от лица Августина Гиппонского, саксонского монаха Готшалька\*, жившего в IX столетии, и

<sup>9</sup> Нидхёгг – в скандинавской мифологии дракон, обитающий под землёй и подгрызающий корни мирового древа – ясеня Иггдрасиля.

<sup>10</sup> Флажолет (фр. flageolet) – род продольной флейты высокого регистра.



Соседа Шатковера из «Странствий Паломника». Также любопытнейшее изображение подлинного случая, когда Франц Месмер вместе с юным Моцартом музицировали на стеклянной гармонике при дворе эрцгерцога в Вене – произведение, написанное звучным стихом, полное странной напевности, превосходное и по замыслу, и по исполнению. Этот Готшалк, с его непоколебимой верой в предопределение, предтеча Лютера – даже и в том, что отринул монашеский обет, – возможно, изображает собою кое-кого из нынешних евангелических проповедников. Сосед же Шатковер, должно быть, сатира на тех, кто, подобно мне, полагает, что христианство не есть идолопоклонническая вера в присутствие божества в куске хлеба, как не есть оно пять пунктов метафизического вероучения.<sup>11</sup> Рисуя Шатковера, который, надо думать, ближе ему по духу, Падуб, по своему обыкновению, выказывает к нему больше неприязни, чем к своему чудовищному монаху, в чьём неистовом рычании местами звучит истинное величие. Каковы же убеждения самого Рандольфа Падуба, разобрать невозможно. Боюсь, что стихи его никогда не будут иметь успех у публики. Его описание Шварцвальда в «Готшалке» очень хорошо, но многие ли сумеют продрасться через предваряющие его богословские рассуждения? За извивами и хитроумной вязью его напевов, достигаемыми ценою насилия над стихом, за нагромождениями необычных и неосновательных сближений смысл делается неразличимым. Читая Падуба, я вспоминаю, как молодой Кольридж с упоением декламировал свою эпиграмму на Джона Донна:

Донн, чей Пегас верблюдом выступает,  
В амурный вензель кочергу сгибает.

Этот отрывок был хорошо известен падубоведам и часто цитировался. Роланду нравился Крэбб Робинсон – человек, наделённый любознательностью и неутолимимым желанием делать добро, души не чаявший в литературе и науках, но при всём том вечно недовольный собой. «Я рано понял, что не имею столько литературного дарования, чтобы занять то место в ряду английских писателей, о котором я мечтал. Но я расчёл, что у меня есть возможность завести знакомство со многими замечательными людьми нашего времени и приносить некоторую пользу, записывая свои с ними беседы». Кого только из великих он не знал! Целых два поколения знаменитостей: Водсворт, Кольридж, де Квинси, Лэм\*, мадам де Сталь, Гёте, Шиллер, Карлейль, Д. Г. Льюис\*, Теннисон, Клаф\*, Баджот. Роланд прочёл записи за 1857 год и перешёл к 1858-му. В феврале Робинсон писал:

Когда пробьёт мой смертный час (а в восемьдесят лет час этот уже не за горами), я возблагодарю Создателя за то, что Он доставил мне случай увидеть целое собрание совершенств, дарованных людям. Если говорить о женщинах, я видел благородное величие, воплощённое в миссис Сиддонс\*, обаяние миссис Джордан и мадемуазель Марс\*; я затаив дыхание слушал задумчивые монологи Кольриджа – «этого златоустого старца»; я путешествовал с Водсвортом, величайшим из наших сочинителей философической лирики; я наслаждался остроумными и пылкими речами Чарльза Лэма, я бывал в гостях у Гёте, гениальнейшего ума своего времени и своей страны, и вёл с ним пространные застольные беседы. Он утверждает, что всем обязан только

<sup>11</sup> Имеется в виду религиозная доктрина кальвинизма.

Шекспиру, Спинозе и Линнею – подобно тому как Водсворт, вступая на поприще поэзии, опасался, что не сумеет превзойти лишь Чосера, Спенсера, Шекспира и Мильтона.

В записях за июнь Роланд наконец обнаружил то, что искал.

Мой званный завтрак – в рассуждении застольной беседы – удался. Были Баджот, Падуб, миссис Джеймсон, профессор Спир, мисс Ла Мотт и приятельница её мисс Перстчетт, особа весьма немногословная. Падуб до сего дня не был знаком с мисс Ла Мотт, которая и нынче выехала из дома лишь затем, чтобы доставить мне приятность и побеседовать о своём батюшке, чья книга «Mythologies»<sup>12</sup> сделалась известною в Англии не без моего участия. Завязался оживлённый разговор о поэзии, в особенности о несравненном гении Данте, а также о гении Шекспира, запечатлевшемся в его стихах, и в первую очередь об игривости его ранних поэм, которыми Падуб особенно восхищается. Мисс Ла Мотт показала такую красноречивость, какой я от неё никак не ожидал; одушевляясь, она делается чудо как хороша. Говорили ещё о так называемых спиритических явлениях, про которые с большим чувством писала мне леди Байрон. Речь зашла о сообщении мисс Бичер-Стоу, которая будто бы имела беседу с духом Шарлотты Бронте. На это мисс Перстчетт, большей частью хранившая молчание, сочувственно заметила, что, по её убеждению, подобные происшествия возможны и действительно случаются. Падуб возразил, что поверит в такие явления не прежде, чем сам удостоверится в их истинности на опыте, но в обозримом будущем такой случай едва ли представится. Баджот сказал, что, судя по тому, как Падуб изображает веру Месмера в действенность духовных флюидов, не такой уж он беззаветный приверженец позитивистской науки, каким себя выставляет. Падуб отвечал, что, если поэт желает вообразить себе некое историческое происшествие, он должен вжиться в душевный мир своих героев и он, Падуб, проникается их убеждениями так основательно, что ему грозит опасность забыть о собственных убеждениях. Все обратились к мисс Ла Мотт с вопросом, что она думает о стуках, производимых духами, но она своего мнения не сказала и отвечала улыбкою Моны Лизы.

Роланд выписал себе этот отрывок и принялся читать дальше, но не нашёл больше ни одного упоминания о мисс Ла Мотт, хотя сообщения о визитах Падуба и к Падубу мелькали то и дело. Робинсон отдавал должное домовитости миссис Падуб и сетовал, что она так и не стала матерью: мать из неё получилась бы примерная. В записях Робинсона не было никаких свидетельств, что мисс Ла Мотт или мисс Перстчетт показали сколько-нибудь хорошее знакомство с творчеством Падуба. Может быть, эта беседа, «приятная и неожиданная» или, как сказано в другом черновике, «необычная», состоялась в другое время или в другом месте. Переписанные довольно-таки неразборчивым почерком Роланда, записи Робинсона выглядели странно, не так полнокровно и словно бы поутратили связь с обстоятельствами жизни писавшего. Роланд понимал, что переписанный текст – это уже не то, хотя бы потому, что в него наверняка вкрались неточности: статистика показывает, что они почти неизбежны. Мортимер Собрайл заставлял своих аспирантов переписывать фрагменты текстов – обычно из произведений Рандольфа Генри Падуба, – потом переписывать переписанное, перепечатывать то, что получилось, и придирчивым редакторским глазом выискивать ошибки. Текстов без ошибок не бывает, утверждал Собрайл. Даже изобретение простой в обращении копировальной тех-

<sup>12</sup> «Мифология» (фр.).

ники не избавило аспирантов от этих унижительных упражнений. Аспидс подобными методическими приёмами не пользовался, хотя и он отмечал и исправлял тьму ошибок, разражаясь одним и тем же набором колкостей по поводу упадка образования в Англии. В его время, приговаривал он, студенты правописанием владели, а уж поэзия, Библия просто входили в плоть и кровь. Чудное выражение «входить в плоть и кровь», добавлял он, можно подумать, что знание поэзии циркулирует в сердечно-сосудистой системе. «Струится в сердце», как писал Водсворт.<sup>13</sup> Но в лучших английских традициях Аспидс считал, что прививать недоучкам навыки, которых они лишены, – это не его дело. Им приходилось брести на ощупь в тумане его брюзгливо-презрительных обиняков.

\* \* \*

Роланд отправился разыскивать Аспидса в Британский музей. Он ещё не решил, что именно рассказать Аспидсу, и хотел обдумать предстоящий разговор в читальном зале под высоким куполом; Роланду казалось, что, несмотря на его высоту, кислорода в зале на всех не хватает и усердные читатели в сонном забытии постепенно сникают, как язычки пламени под стеклянным колпаком. Время было послеобеденное – утро Роланд посвятил Крэббу Робинсону, – а это значило, что посетители уже заняли все места за высокими просторными столами с нежно-голубой обивкой, лучами расходящимися от администраторского стола, который кольцом охватила стойка каталога. Пришлось довольствоваться одним из столиков поменьше в секторе между лучами, обычным местом опоздавших. Это были заштатные столы, столы на птичьих правах, столы с заикающимися обозначениями: «ДД», «ГГ», «ОО». Роланд нашёл себе место возле двери в конце стола «ПП» (Падуб). Когда он впервые попал в читальный зал, то, в упоении от того, что его допустили в святая святых мира знаний, вообразил себя в дантовском Раю, где праведники, патриархи, непорочные девы занимают места на ступенях амфитеатра, как лепестки огромной розы или страницы огромного тома, некогда рассеянные по вселенной, а теперь вновь собравшиеся вместе. Тиснённые буквы на столах – золото на голубом – также вызывали в памяти образы Средневековья.

Если так, то Падубоведник, притаившийся в недрах здания, был Адом. Чтобы попасть туда, надо было спуститься по железным ступеням из читального зала, а чтобы выйти – отпереть высокую дверь и подняться в египетский город мёртвых, где никогда не светило солнце, где на пришельца невидящими глазами смотрели фараоны, сидели на корточках писцы, стояли сфинксы и пустые саркофаги. Падубоведник – душное подземелье, уставленное металлическими картотеками, – разделялся на стеклянные отсеки, в которых плескался стрёкот пишущих машинок. Мертвенный свет неоновых ламп озарял подземелье, там и сям мерцали зелёные экраны читальных аппаратов для микрофильмов. Иногда – если замкнёт ксерокс – по всему помещению разносился запах серы. Слышались стоны, порой даже крики. Во всех подвальных помещениях Британского музея стоит тошнотворный кошачий дух. Кошки просачиваются сквозь решётки и пустотелый кирпич, шастают по углам, шарахаются от сердитого «брысь», бывает, лакомятся поднесённым тайком угощением.

Обычно Аспидс восседал в своём логове, где были в обманчивом беспорядке разбросаны – а на самом деле по порядку разложены – материалы для великой книги, которую он редактировал. Сидя в ущелье между утёсов из пухлых крапчатых папок, между утёсов, ошетилившихся краями каталожных карточек, он перебирал груды узких бумажных листков. Позади порхала его бледная ассистентка Паола: длинные бесцветные волосы стянуты резинкой, большие очки – раскинувшая крылья бабочка, кончики пальцев словно пыльно-серые подушечки.

<sup>13</sup> Образ из стихотворения У. Водсворта «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства».

За отсеком машинистки, в закутке из картотечных шкафов, обитала доктор Беатриса Пуховер, почти замурованная в своей пещере коробками с дневниками и перепиской Эллен Падуб.

Аспидсу было пятьдесят четыре года. Заняться редактированием Собрания Падуба его побудило одно досадное воспоминание. Он родился в шотландской семье, и отец и дед его были школьными учителями. Вечерами у камелька дед часто читал стихи: «Мармион»,<sup>14</sup> «Чайльд Гарольд», «Рагнарёк». Отец отправил юношу в Кембридж, и он учился в Даунинг-колледже у Фрэнка Реймонда Ливиса\*. Ливис проделал с Аспидсом то же, что и со всеми серьёзными студентами: он показывал им величие, грандиозную и непреходящую значимость английской литературы, а сам лишал их всякой веры в то, что им по силам продолжить её традиции или сказать в ней новое слово. Юный Аспидс сочинял стихи, но стоило ему представить, что скажет о них доктор Ливис, как всё было сожжено. Семестровые и курсовые работы Аспидс писал лаконичным, расплывчатым, непроницаемым слогом. Судьба Аспидса решилась на семинаре по датировке литературных произведений. Аудитория была набита битком, все места заняты, сидели даже на подлокотниках. Сухощавый, подвижный Ливис в рубашке с открытым воротом взобрался на подоконник, распахнул окно, и в аудитории повеяло свежестью, хлынул холодный кембриджский свет. Студентам раздали тексты для датировки: что-то из лирики трубадуров, отрывок из якобианской драмы, сатирические двустихия, написанные белым стихом рассуждения о вулканической грязи и любовный сонет. Уроки отца не прошли даром, Аспидс тут же узнал стихи. Все они были написаны одним человеком – Рандольфом Генри Падубом: образчики его чревоуещания, плоды его грузной эрудиции. Аспидс оказался перед выбором – сразу назвать автора или дать семинару идти своим чередом: пусть Ливис подталкивает незадачливых студентов к ошибочным выводам, а потом с аналитическим блеском показывает, как отличить подлинник от подделки, голос истинного чувства от викторианской безучастности. Аспидс решил промолчать, и Падуб был разоблачён Ливисом, а его творчество объявлено далёким от совершенства. Аспидс чувствовал, что своим молчанием словно бы предал Рандольфа Генри Падуба, правда уж если он кого и предал, то себя, своего деда, а может быть, и доктора Ливиса. Но он искупил свою вину. Творчество Падуба стало темой его диссертации, называлась она «Осознанные доводы и неосознанные пристрастия. Причины душевного разлада в драматических поэмах Рандольфа Генри Падуба». Аспидс сделался падубоведом в ту пору, когда на Падуба смотрели как на старую рухлядь. К редактированию Полного собрания поэтических произведений и пьес он, поддавшись на уговоры, приступил ещё в 1959 году с благословения нынешнего лорда Падуба: пожилой пэр, методист, был потомком одного из дальних родственников Падуба и унаследовал все нераспроданные рукописи поэта. В те годы Аспидс по наивности надеялся, что рано или поздно завершит издание и сможет взяться за другую работу.

Обзаведясь непостоянным по численности штатом младших научных сотрудников, Ной – Аспидс рассылал своих голубей и воронов по всем библиотекам мира. Сотрудники разлетались, унося с собой узкие листочки бумаги, смахивавшие на квитанции камеры хранения или талоны на льготный обед. На каждом листочке значились сведения, требующие изысканий: полстроки, где, возможно, скрывалась цитата; неизвестно к чему относящееся название; ступица колеса римской колесницы, упоминание о которой следовало найти в комментариях Гиббона; «Напасть из грёз, мудрец дынеподобный», заимствованный, как выяснилось, из сна Декарта. Падуба интересовало всё на свете. Арабская астрономия и средства передвижения в Африке, ангелы и чернильные орешки, гидравлика и гильотина, друиды и Великая армия Наполеона, катары и типографщики-подмастерья, эктоплазма и солярные мифы, последняя трапеза мастодонта, найденного в вечной мерзлоте, и истинная природа манны. Тексты захлёбывались и тонули в примечаниях. Примечания выглядели громоздко, резали глаз, но без них

<sup>14</sup> «Мармион» – поэма Вальтера Скотта.

не обойтись, думал Аспидс, наблюдая, как на месте каждой решённой загадки, словно головы Гидры, вырастают две нерешённые.

Сидя в подземной полумгле, Аспидс часто размышлял о том, как личное в человеке растворяется в профессиональном. Каким был бы сейчас он, Аспидс, если бы выбрал профессию, к примеру, социального работника и распределял средства на жилищное строительство или сделался полицейским и ломал голову над волосинками, обрывками кожи, отпечатками больших пальцев? (Игра ума во вкусе Падуба.) Каков был бы его умственный багаж, если бы он, Аспидс, пополнял его просто так, для души, чем-то другим – не объедками и обносками, оставшимися после Падуба?

Бывали минуты, когда Аспидс отваживался признать очевидное – эта работа растянется на всю его научную, а значит, на всю сознательную жизнь: все мысли – о чужих мыслях, все труды – ради чужих трудов. Но потом он решал, что это не страшно. Ведь Падуб ему интересен так же, как и много лет назад. Если он и состоит у Падуба в услужении, это приятная служба. Это Мортимеру Собрайлу вздумалось завладеть и распорядиться Падубом, а Аспидс знает своё место.

Однажды по телевизору выступал какой-то натуралист, и Аспидс узнал в нём себя. Натуралист достал из мешочка погадку совы – отрыгнутые комки непереваренной пищи, – снабдил комки ярлычками, затем разъял каждый пинцетом, прополоскал в мензурках с разными очищающими жидкостями и принялся сортировать и складывать осколки костей, клочки шерсти и зубы, спрессованные в извержениях совиного желудка, пытаясь восстановить облик мёртвой землеройки или слепозмейки, которые были съедены живьём и пропутешествовали по совиным кишкам. Этот образ показался Аспидсу удачным, он подумывал развить его в стихотворение, но оказалось, что Падуб его опередил. Он уже писал об археологе, который

Выискивает битвы прошлых лет  
Средь крошева костей и черепов  
И щеп булатных – как досужий пастор  
Кончину мыши или слепозмейки  
Вычитывает из погадки совьей,  
Изблёва белой тихокрылой смерти  
С кровавым клювом меж пушистых щёк.

И Аспидс гадал: то ли он обратил внимание на теленатуралиста по наущению засевших в мозг строк Падуба, то ли его разум обошёл без подсказчиков.

\* \* \*

Длинный проход между шкапами привёл Роланда во владения Аспидса, залитые ледяным свечением. Паола приветливо улыбнулась Роланду, Аспидс нахмурился. Весь он был как будто раскрашен серым: серая кожа, серо-стальные, с проседью, волосы, которые Аспидс, гордясь их не по возрасту сохранной густотой, отпускал подлиннее. Носил он твидовый пиджак, плисовые брюки – костюм, как и всё в подземелье, солидный, поношенный, пыльный. Улыбался Аспидс добросовестно-ироничной улыбкой, но она появлялась очень-очень редко.

– Я, похоже, сделал открытие, – объявил Роланд.

– А потом окажется, его делали уже раз двадцать. Что там у вас?

– Я видел его экземпляр Вико. Там полным-полно записок, все его рукой. Прямо на каждой странице. Это в Лондонской библиотеке.

– Собрайл, уж наверно, прочесал книгу вдоль и поперёк.



– Не похоже. Нет-нет, не похоже. Записки по краям чёрные от пыли, чёрные по обреза. Их не вынимали уже много лет, может, вообще не вынимали. Я кое-что просмотрел.

– Стоящий материал?

– Очень стоящий. Огромной ценности.

Аспидс, стараясь скрыть волнение, принялся скреплять листочки бумаги.

– Надо будет проверить. Я сам посмотрю. Съезжу и посмотрю. Вы там всё оставили как было?

– Ну конечно. Правда, когда книгу раскрыли, кое-какие записки повывпадали, но мы их положили, по-моему, точно на прежнее место.

– Не понимаю. Я-то думал, Собрайл вездесущ. А вы пока никому ни слова, слышите? Иначе ваша находка упорхнёт за океан, а у Лондонской библиотеки появятся средства на новые ковры и кофейный автомат. И Собрайл снова пришлёт нам издевательски-сочувственный факс: любезное предложение воспользоваться стэнтовскими материалами и обещание помочь с микрофильмами. Вы никому не говорили?

– Только библиотекаря.

– Поеду туда. Нету денег – будем бить на патриотизм. А то эта прорва всё засосёт.

– Библиотека не согласится...

– Если Собрайл взмахнёт чековой книжкой, я ни за кого не ручаюсь. Разве они устоят?

Аспидс поспешно натянул пальто – что-то вроде потёртой офицерской шинели. Роланд уже отбросил мысль – мысль, впрочем, нелепую – поговорить с шефом о похищенных письмах. Он только спросил:

– А что вам известно об авторе по фамилии Ла Мотт?

– Исидор Ла Мотт. «Mythologies», тысяча восемьсот тридцать второй год. «Mythologies indigenes de la Bretagne et de la Grand Bretagne».<sup>15</sup> И ещё «Mythologies françaises».<sup>16</sup> Грандиозный научный компендиум легенд и фольклора. Сквозная тема – модные в те годы поиски «единого ключа ко всем мифологиям» и ещё интерес к бретонской национальной самобытности и культуре. Падуб определённо их читал, но где использовал – не помню.

– А вот ещё какая-то мисс Ла Мотт...

– Ах да, дочь. Которая писала религиозные стихи, да? Беспросветная книжица под названием «Единое на потребу». И сборник детских сказок: «Сказки, рассказанные в ноябре». Прочтёшь на ночь – не заснёшь. И какая-то эпическая поэма – говорят, совершенно неудобочитаемая.

– Я слышала, Ла Мотт сильно интересуются феминистки, – сказала Паола.

– Иначе и быть не может. Не Рандольфом же Падубом им интересоваться, – фыркнул Аспидс. – С тех пор как наша общая знакомая вон из той комнаты раскопала-таки бесконечные дневники Эллен, они только их и читают. Им кажется, будто Рандольф Падуб не давал жене заниматься писательством, а сам эксплуатировал её творческую фантазию. Доказать это будет непросто, да они, по-моему, доказательств и не ищут. Они знают истину, даже не успев до неё докопаться. Единственный довод – это то, что Эллен чуть ли не дни напролёт проводила на диване, как будто это так уж необычно для дамы её положения в те времена. Да уж, феминисткам – как, впрочем, и Беатрисе – придётся трудно: Эллен Падуб бесцветная особа. Не Джейн Карлейль\*, и даже обидно, что не Джейн Карлейль. Беатриса, бедняжка, задумала показать, что Эллен Падуб была заботлива до самоотверженности, и давай рыться в дневнике, отмечать каждый рецепт крыжовенного варенья, каждую увеселительную прогулку в Бродстерс. Двадцать пять лет рылась, шутка сказать. А через двадцать пять лет оказывается, что заботливость и самоотверженность больше не в чести, сегодня изволь доказывать, что Эллен Падуб была

---

<sup>15</sup> «Мифология», «Мифология коренного населения Бретани и Великобритании» (фр.).

<sup>16</sup> «Французская мифология» (фр.).

страдалица, бунтарка, нераскрытое дарование. Бедная Беатриса. За все эти годы одна-единственная публикация – «Спутницы жизни», тоненькая брошюрка пятидесятого года издания. Нынешние феминистки плевались. В заглавии – никакой иронии, маленькая антология мудрых, тонких, трогательных высказываний жён великих людей. Дороти Водсворт, Джейн Карлейль, Эмили Теннисон, Эллен Падуб. Центр женских исследований и рад бы заполучить и издать дневники Эллен, но не может: официальный редактор – старушка Беа. А она, бедняжка, никак не сообразит, откуда все её неудачи.

У Роланда не было никакого желания выслушивать очередной монолог Аспидса о не увидевшем до сих пор свет издании дневников Эллен Падуб, которое готовила Беатриса Пуховер. В голосе Аспидса, когда он заговаривал о Беатрисе, пробивалось такое бешеное раздражение, что Роланд вспоминал залиvistый лай гончих перед травлей (вживую он этот лай ни разу не слышал – только по телевизору). При мысли же о Собрайле Аспидс с заговорщицким видом озирался.

Аспидс отправился в Лондонскую библиотеку. Роланд не вызвался поехать вместе с ним, а пошёл искать, где можно выпить кофе. Потом надо будет порыскать по каталогам, поразузнать, кто и что писал про мисс Ла Мотт, которая уже начинает обростать биографией. Обычная работа, когда хочешь разглядеть за мёртвым именем живого человека.

Поднявшись в Египетский зал, Роланд очутился в окружении каменных тяжеловесов. Между расставленными ножищами одного атлета он увидел, как по залу стремительно движется что-то бело-золотистое. «Что-то» оказалось Фергусом Вулффом, который тоже вышел на поиски кофе. Долговязый Фергус носил плотный свитер ослепительной белизны и мешковатые брюки, как у японских мастеров боевых искусств. Длинноватые медно-золотистые волосы были на висках подстрижены покороче – причёска в духе тридцатых годов, подправленная по моде восьмидесятых. При виде Роланда Фергус радостно блеснул голубыми глазами и расплылся в довольной плотоядной улыбке, сверкнув таким белозубым оскалом, что дух захватывало. Фергус был старше Роланда. Дитя шестидесятых, он бросил университет, зажил вольной жизнью, побывал в Париже в пору студенческих волнений, с благоговением ловил каждое слово Барта\* и Фуко\*, а потом вернулся и заблистал в колледже Принца Альберта. Человек он был, в общем-то, славный, но многих его знакомых не оставляло смутное чувство, что по какой-то неведомой причине его стоит опасаться. Роланду Фергус нравился: ему казалось, что и Фергус относится к нему с симпатией.

Сейчас Фергус работал над деконструктивистским анализом бальзаковского «Неведомого шедевра». Роланд уже перестал удивляться, что факультет английской литературы финансирует исследования французских авторов. Других тем, как видно, всё равно не подворачивалось. Притом Роланд не хотел, чтобы его недоумение расценили как узость интересов. Сам он владел французским хорошо: не напрасно мать с таким рвением заправляла его образованием.

Развалившись на банкетке в кафетерии, Фергус объяснял, что задача его исследования – произвести деконструкцию объекта, который уже сам деконструировался: ведь в новелле Бальзака идёт речь о картине, которая оказывается просто-напросто беспорядочным нагромождением мазков.

Роланд из вежливости выслушал и спросил:

– Ты что-нибудь знаешь о такой мисс Ла Мотт? Примерно пятидесятые годы прошлого века, писала детские сказки и религиозные стихи.

Фергус разразился что-то уж слишком продолжительным хохотом и бросил:

– Ещё бы не знать!

– И кто она?

– Кристабель Ла Мотт. Дочь Исидора Ла Мотта, собирателя мифов. «Единое на потребу», «Сказки, рассказанные в ноябре». Эпическая поэма «Мелюзина». Поразительная штука. Слышал про Мелюзину? Это была фея, она хотела обрести душу и для этого вышла замуж за смерт-

ного, но заключила с ним договор: по субботам она будет уединяться, а он чтобы за ней не подсматривал. Много лет он этот договор соблюдал. Мелюзина родила ему шестерых сыновей, и у каждого какой-нибудь странный изъян: лишнее ухо, огромные клыки, у того на щеке растёт яблоко, у этого три глаза – всё в таком духе. Одного звали Жоффруа Большой Зуб, другого Оррибль – Ужасный. Мелюзина строила замки – настоящие, они до сих пор сохранились в Пуату. В конце концов муж, разумеется, не удержался, заглянул в замочную скважину – или ещё есть версия, что он проделал в стальной двери дыру острием меча, – и увидел, что Мелюзина резвится себе в просторной мраморной купальне. Ниже пояса тело у неё было как рыбий или змеиный хвост – по словам Рабле, *andouille*<sup>17</sup> – что-то вроде здоровенной колбасы, прозрачный символ, – и от ударов этого её мускулистого хвоста вода так и кипела. Муж и виду не подал, что знает, она тоже держалась как ни в чём не бывало, но вот однажды буяну Жоффруа не понравилось, что его брат Фромонт нашёл убежище в монастыре и не хочет оттуда уходить. Жоффруа обложил монастырь хворостом и поджёг. Монахи, Фромонт – все сгорели. И тогда Раймондин (этот самый рыцарь, муж) воскликнул: «Это всё ты виновата! Надо же мне было взять в жёны мерзкую змею!» Мелюзина упрекнула его за нарушение слова, обернулась драконом, со страшным шумом взвилась над замком, облетела его, тараня крепостные башни, и умчалась прочь. Ах да, она ещё приказала мужу во что бы то ни стало убить Оррибля, иначе он их всех погубит, и Раймондин так и сделал. А Мелюзина до сих пор является графам Лузиньянским, когда кому-нибудь суждено умереть. Как Белая дама, Фата Бьянка. Интерпретаций легенды, как понимаешь, множество: исследуют и символическое значение, и мифологические корни, и психоаналитическую подоплёку. Кристабель Ла Мотт написала свою длинную замысловатую поэму про Мелюзину в шестидесятые годы, а опубликовали её в начале семидесятых. Любопытнейшее произведение: трагизма, романтичности, символики – хоть отбавляй. Как в сновидении: фантастические твари, во всём потаённый смысл, прямо-таки жутковатая чувственность – или вчувствованность. Феминистки от «Мелюзины» без ума. Они говорят, что в ней выражена бесплодная женская страсть. Они-то и открыли поэму заново. Правда, Вирджиния Вулф тоже её читала: она расценивала «Мелюзину» как образное доказательство того, что творческое сознание по сути своей андрогинно. А вот современные феминистки считают, что Мелюзина в своей купальне символизирует самодостаточную женскую сексуальность, которая обходится без всяких там мужчин. Мне «Мелюзина» нравится: какая-то в ней тревожность. Мечущийся взгляд. То обстоятельнейшее описание чешуйчатого хвоста, то баталии космического размаха.

– Ценные сведения. Надо почитать.

– А зачем тебе это?

– Нашёл упоминание у Рандольфа Падуба. Ну, Рандольф Падуб чего только не упоминал. Что смеёшься?

– А я ведь стал специалистом по Кристабель Ла Мотт не по своей воле. Есть на свете два человека – две женщины, – которым известно о Кристабель всё, что только можно знать. Одна – профессор Леонора Стерн из Таллахасси. Другая – Мод Бейли из Линкольнского университета. Я с ними познакомился в Париже, на той конференции по текстуальности и сексуальности. Помнишь, я как-то ездил? Мужчин они, по-моему, терпеть не могут. Но у меня с Мод-громовержицей получился-таки непродолжительный романчик. Сперва в Париже, потом здесь.

Он умолк и, задумавшись, нахмурился. Хотел что-то добавить, открыл было рот, но передумал. Помолчав, всё-таки продолжил:

– Она – Мод – руководит у себя в Линкольне Женским информационным центром. Там сколько угодно неопубликованных рукописей Кристабель. Так что, если тебе нужно что-то из ряда вон выходящее, обратись туда.

<sup>17</sup> Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль, 4, XXXVIII. (В переводе Н. М. Любимова – «змеевидная колбаса».)

– Может, и правда обратиться? Спасибо. А что она за человек, эта Мод Бейли? Она меня не съест?

– Она мужчин не ест – она их замораживает, – выпалил Фергус тоном, не поддающимся никакой интерпретации.

## Глава 4

*Стеклянная башня  
Из терний змеится —  
Не терем нарядный,  
Не дом голубицы.*

*По дебрям иглистым  
Злой свист ветерка.  
Глядь – в чёрном окне  
Белеет рука.*

*И слышит прохожий  
Зов дряхлоголосый:  
«Рапунцель, Рапунцель,  
Спусти свои косы».*

*И струи златые  
С тревожною дрожью  
Сбегают, сверкая,  
По башне к подножью.*

*Горбунья по косам  
Взбирается хватко.  
Как страждет в когтях её  
Каждая прядка!  
И смотрит прохожий  
Угрюмее ночи:  
Снести эту пытку  
И вчуже нет мочи.<sup>18</sup>*

*Кристабель Ла Мотт*

Уже подъезжая к Линкольну, Роланд с досадой думал, что напрасно поехал поездом, а не автобусом. Автобусом было бы хоть и дольше, зато дешевле, но доктор Бейли открыткой коротко известила Роланда, что ей удобнее встретить его, если он отправится поездом, прибывающим в Линкольн в полдень: им ещё предстоит добираться до университета, а это за городом. Впрочем, в поезде можно было почитать, что ещё писали о Кристабель Ла Мотт. В библиотеке колледжа Роланд отыскал две книги. Одна – тоненькая, по-дамски изящная – была написана ещё в 1947 году и озаглавлена «Белая постель», по названию стихотворения Ла Мотт. Другая – толстый том феминистских статей, в основном американских авторов, изданный в 1977-м: «Себя, себя отдать. Ла Мотт и её стратегия укромности».

В первой книге, написанной Вероникой Хонитон, имелся краткий биографический очерк. Кристабель приходилась внучкой Жану-Батисту и Эмили Ла Мотт, которые переселились в Англию из Франции, спасаясь от Террора 1793 года. На родину они не вернулись даже после падения Бонапарта. Исидор родился в 1801 году, учился в Кембридже, пописывал стихи, но в конце концов посвятил себя истории и собиранию мифов,

---

<sup>18</sup> Стихотворение написано по мотивам сказки братьев Гримм «Рапунцель».

причём в этом качестве испытал сильное влияние немецких фольклористов и исследователей источников библейских текстов, не изменяя, однако, своему христианскому мистицизму бретонского закала. Его мать, Эмилия, была старшей сестрой Рауля де Керкоза – республиканца, историка антиклерикального толка, также увлекавшегося собиранием фольклора; де Керкоз жил во Франции, в семейной усадьбе Кернемет. В 1823 году Исидор женился на мисс Арабелле Гамперт, дочери Руперта Гамперта, каноника собора Св. Павла. Прочная религиозность матери во многом определила степенный уклад жизни, который окружал Кристабель в детстве. У супругов родились две дочери: в 1830 году – София, впоследствии вышедшая за сэра Джорджа Бейли, владельца поместья Сил-Клоус в Линкольнширской низине, в 1825 году – Кристабель, которая жила у родителей до 1853 года, когда её незамужняя тётка Антуанетта де Керкоз оставила ей небольшое состояние и Кристабель, покинув родительский дом, переехала в Ричмонд в графстве Суррей. Вместе с ней поселилась её подруга – девушка, с которой она познакомилась на лекции Рескина.

Мисс Бланш Перстчетт, как и Кристабель, была человеком художественных устремлений: она писала маслом масштабные живописные полотна, ни одно из которых до нас не дошло, и работала в технике деревянной гравюры. В этой технике ею мастерски выполнены полные загадочных образов иллюстрации к прелестным, хотя и несколько гнетущим «Сказкам для простодушных» и «Сказкам, рассказанным в ноябре» Кристабель Ла Мотт и к её же сборнику духовной лирики «Молитвослов». Считается, что именно мисс Перстчетт убедила Кристабель взяться за сочинение «Феи Мелюзины» – грандиозной, непростой для понимания эпической поэмы по мотивам старинного предания о волшебнице, полуженщине-полузмее. Каждая складка в словесной толще поэмы представляет собой богатейшую рудоносную жилу. В период влияния прерафаэлитской эстетики поэма вызывала восхищение многих критиков, в том числе Суинберна, сравнившего её со «смирным мускулистым змеем, у которого столько мощи и яда, сколько никогда ещё не выходило из-под пера женщины, но повествование лишено напора, отчего на память приходит другой змей – с хвостом в собственной пасти: так Кольридж описывал Воображение». Сегодня поэма предана забвению как лишённая литературных достоинств. Негромкую, но прочную литературную славу принесла Кристабель её сдержанная изящная лирика, в которой сказались тонкость чувств, слегка меланхолический характер поэтессы и её болезненная, но стойкая религиозность.

Мисс Перстчетт погибла в результате несчастного случая – она утонула в Темзе в 1861 году. Её смерть, по-видимому, стала для Кристабель страшным ударом: она вернулась к родным и до конца своих дней жила с сестрой Софией. Остаток её жизни не был потревожен никакими заметными событиями. После «Мелюзины» к поэзии она не возвращалась и обрекла себя на всё более и более глухое безмолвие. Она умерла в 1890 году в возрасте 65 лет.

Анализ поэзии Кристабель в книге Хонитон сводился к задушевным рассуждениям о сквозящей в её стихах «мистике быта», образцом которой автор считала дифирамб Джорджа Герберта\* слуге, «что горницу метёт, как по Твоим заветам»:

Я люблю опрятность,

Строй крахмальных складок.  
Нету места скверне,  
Где во всём порядок.

Всё к приходу Гостя  
Прибрано прилежно —  
Пусть любит постели  
Белизною снежной  
И, повив нас белым,  
Упокоит нежно.

А тридцать лет спустя феминистки увидели Кристабель Ла Мотт мятущейся, озлобленной. Они писали статьи вроде: «Разодранная ткань Ариахны.<sup>19</sup> Искусство как субститут прядения в творчестве Ла Мотт» или: «Мелюзина и Демон-Двойник. Добрая Мать и Недобрый Змей», «Покорная ярость. Амбивалентная хозяйственность Кристабель Ла Мотт», «Белые перчатки. Бланш Перстчетт: Завуалированное лесбийство Ла Мотт». Была в сборнике и статья Мод Бейли «Мелюзина – созидательница городов. Мятежная женская космогония». Роланд понимал, что её-то и стоило прочесть в первую очередь, но его устрасил внушительный объём и россыпи ссылок на научные работы. Вместо неё он принялся за «Разодранную ткань Ариахны» – искусный разбор, как видно, одного из многочисленных стихотворений Кристабель о насекомых.

Из нутра рябой корявой твари —  
Страшная работа —  
Щепоть лапок тянет нить и ладит  
Светлые тенёта:  
Стройность сети водотканой, гладкой  
Лёгкий свет хватает мёртвой хваткой.

\* \* \*

Сосредоточиться не удавалось. За окном бежали обыкновенные равнинные пейзажи центральных графств, мелькнула кондитерская фабрика, компания по производству контейнеров, расстилались поля, проносились живые изгороди, каналы – картины уютно-незатейливые. На фронтисписе книги мисс Хонитон Роланд впервые в жизни увидел изображение Кристабель: один из ранних образцов фотографического искусства, рыжевато-коричневый снимок, прикрытый для сохранности хрустящим листком папиросной бумаги. На Кристабель был обхвативший плечи широкий плащ и шляпка со складчатыми с изнанки полями, широкие ленты шляпки завязаны под самым подбородком. Казалось, что это фотография костюма, а сама Кристабель лишь избрала его своим убежищем и выглядывает из него, склонив голову набок то ли озадаченно, то ли намеренно, чтобы выйти на портрете «грациозной, как птичка». Из-под шляпки на виски спускались волнистые бледные волосы, между полуоткрытых губ виднелись ровные крупные зубы. Ясного представления о личности Кристабель портрет не давал: просто викторианская леди, обыкновенная застенчивая поэтесса.

---

<sup>19</sup> Необычное написание имени героини греческого мифа ткачихи Арахны, вызвавшей на состязание богиню Афину и превращённой в паука, наводит на мысль, что тут, возможно, контаминация двух мифов: об Арахне и об Ариадне с её путеводной нитью.

Роланд не сразу угадал, кто из толпившихся на перроне Мод Бейли. Сам он тоже никаких особых примет не имел, поэтому узнали они друг друга, лишь когда толпа рассосалась. Не узнать или, по крайней мере, не заметить Мод Бейли было невозможно. Это была рослая женщина, гораздо выше Роланда – кажется, вровень с Фергусом Вулффом. Одея она была с редкой в академической среде продуманностью – из всех слов, какие пришли в голову Роланду, именно это лучше всего передавало впечатление от бело-зелёного наряда, облегающего её длинные стати: длинный жакет цвета хвои, юбка в тон, белая шёлковая блузка, на ногах матово-белые чулки и зелёные полусапожки, отливающие глянцем. Кожа под млечной белизной чулок казалась золотисто-розовой. Какие у неё волосы, Роланд не разглядел: они были туго забраны под тюрбан из расписанного от руки шёлка цвета павлиньих перьев, низко надвинутый на лоб, – заметно только, что брови и ресницы у неё светлые. Гладкое белое лицо чёткой лепки смотрело сосредоточенно, неулыбчиво, губы не накрашены. Поздоровавшись, она попыталась взять у Роланда сумку и донести до машины, но Роланд от помощи отказался.

– Любопытно, однако, что вы заинтересовались этим вопросом, – заметила доктор Бейли, когда её автомобиль – зелёный, сверкающий полировкой «фольксваген-жук» – мчался по шоссе. – Хорошо, что вы сюда выбрались. Будем надеяться, не напрасно.

Она цедила слова с подчёркнуто аристократической небрежностью. Голос её Роланду не понравился. Он уловил исходивший от неё резкий запах, что-то вроде запаха папоротника.

– Не знаю, может, это просто пустые хлопоты. Тут ведь, в сущности, ничего особенного.

– Посмотрим.

\* \* \*

Университетский городок был уставлен башнями, облицованными белой плиткой с вкраплениями фиолетовой, оранжевой, а кое-где ядовито-зелёной. Когда разгуляется ветер, рассказала доктор Бейли, плитки так и сыплются на головы прохожих. А ветер разгуливал по университетскому городку свободно. Ровная, как болотная низина, территория планировкой напоминала шахматную доску, и только фантазия архитектора, отвечавшего за устройство водоёмов, несколько скрасила это однообразие: по разбитой на квадраты площади университета вился целый лабиринт каналов и бассейнов. Сейчас там плавали вороха опавшей листвы, которую расталкивали жемчужные рыльца японских карпов. Университет возник в самый разгар строительного бума, когда на расходы не скупилась. С тех пор фасады потеряли опрятность, швы между белыми плитками облицовки стали заметнее, и пожелтевшие от действия городского воздуха плитки походили теперь на редкие, давно не чищенные зубы.

Шёлковая кайма на донельза пышном головном уборе доктора Бейли колыхалась от ветра. Ветер ерошил густые чёрные волосы Роланда. Сунув руки в карманы, он шёл чуть позади стремительно шагавшей спутницы. Семестр ещё не кончился, но вокруг не было ни души. Роланд спросил, куда подевались студенты. Доктор Бейли ответила, что сегодня среда – день, отведённый для спорта и самостоятельных занятий.

– По средам студентов не видно. Куда они пропадают – непонятно. Как сквозь землю проваливаются. Кто-то сидит в библиотеке. Кто-то – большинство – не в библиотеке. А где – ума не приложу.

Ветер морщил тёмную воду. От рыжих листьев её поверхность казалась остро-шершавой и одновременно раскисшей.

Кабинет Мод Бейли располагался на последнем этаже башни Теннисона.

– Не назвали бы башней Теннисона, стала бы башней Девы Марианн, – с едва уловимой брезгливостью заметила доктор Бейли, толкнув стеклянную дверь. – Советник муниципалитета, который пожертвовал на неё средства, хотел, чтобы здание носило имя кого-нибудь из Робин-Гудовой ватаги. Здесь у нас кафедра английской литературы, кафедра искусствове-



дения, деканат факультета гуманитарных наук и ещё факультет исследований женской культуры. Информационный центр не здесь. Он в библиотечном корпусе. Я вас потом отведу. Кофе хотите?

Они подошли к безостановочному лифту: в пустом проёме с мерным стуком одна за одной ползли вверх площадки для пассажиров. Таких лифтов без дверей Роланд побаивался. Едва площадка поравнялась с полом, доктор Бейли шагнула внутрь; Роланд же замешкался и полез на площадку, когда она уже порядочно поднялась над полом, так что ему пришлось с усилием вскарабкиваться. Доктор Бейли наблюдала за этой вознёй молча. Стенки лифтовой шахты были выложены зеркальной плиткой, горел бронзоватый свет. Доктор Бейли бросила на стоявшего в противоположном углу Роланда испепеляющий взгляд. Вышла она из лифта с той же безукоризненной ловкостью, а Роланд, ступив одной ногой на уходящий вниз пол, чуть не упал.

В кабинете Мод одну стену заменяла стеклянная панель, по остальным стенам до самого потолка высились полки с книгами. Книги расставлены с толком: по темам, в алфавитном порядке, на корешках ни пылинки – только эта забота о чистоте и придавала спартанской обстановке хоть сколько-нибудь обжитой вид. Если что тут и радовало глаз, то лишь сама Мод Бейли. Хозяйка грациозно опустилась на одно колено, включила электрический чайник и достала из шкафчика две японские чашки бело-синей раскраски.

– Присаживайтесь, – сухо бросила она, указав на низкое кресло с голубой обивкой, куда, без сомнения, обычно усаживала студентов, пришедших получить свою письменную работу с оценкой. Она протянула Роланду кружку светло-каштанового «Нескафе». Тюрбан свой она всё не снимала. – Так чем могу служить? – спросила она, усевшись в кресло за письменным столом, который отгородил её от Роланда как барьер.

Тут Роланд принялся мысленно разрабатывать собственную стратегию укромности. До встречи с доктором Бейли его посещала робкая мысль: а не показать ли ей ксерокопии похищенных писем? Теперь он ясно видел: нельзя. Нет у неё тепла в голосе.

– Я занимаюсь Рандольфом Генри Падубом, – начал Роланд. – Помните, я вам писал? Я обратил внимание на одно обстоятельство, из которого следует, что он, возможно, был в переписке с Кристабель Ла Мотт. Вам о такой переписке ничего не известно? Что они встречались, это точно.

– Когда?

Роланд показал отрывок, выписанный из дневника Крэбба Робинсона.

– Что ж, может быть, в дневнике Бланш Перстчетт и найдётся упоминание. Один из её дневников у нас в Информационном центре. Как раз за эти годы: она стала вести дневник, когда они с Кристабель поселились в Ричмонде. У нас в Архиве хранятся практически все бумаги Кристабель, которые остались после её смерти в письменном столе, – она пожелала, чтобы их отослали её племяннице, Мэй Бейли, «в надежде, что и у неё когда-нибудь появится вкус к поэзии».

– И как, появился?

– Насколько мне известно, нет. Она вышла замуж за кузена, уехала с ним в Норфолк, родила десятерых детей, сама вела в этом многолюдном доме хозяйство. Я происхожу от неё по прямой линии: она моя прапрабабка, и я, значит, прихожусь Кристабель внучатой племянницей в четвёртом поколении. Когда я устроилась работать в университет, то уговорила отца передать бумаги на хранение в Архив. Материалы не так чтобы обширные, но важные. Рукописи сказок, всякие клочки с недатированными стихами и, конечно, все редакции «Мелюзины» – Кристабель её переписывала восемь раз и постоянно что-нибудь меняла. Записная книжка, кое-какие письма от друзей и этот самый дневник Бланш Перстчетт – один из нескольких, всего за три года. Может, у нас были и другие – бумагами, к сожалению, не очень-то дорожили, – но они никому не попадались.

– А Ла Мотт? Она дневников не вела?

– Насколько нам известно, нет. Почти наверняка не вела. Есть письмо Кристабель к одной её племяннице, где она советует: никаких дневников. Довольно-таки сильное письмо. «Хорошо, если ты способна придать своим мыслям стройность и претворить их в произведение искусства. Хорошо, если ты способна отдалиться повседневным заботам и чувствам. Убегай лишь привычки предаваться болезненному всматриванию в себя. Ничто так не связывает женщину в её стремлении создать нечто достойное или прожить жизнь свою с пользой, как эта привычка. Вторая из этих целей достижима с помощью Божией – с нею и средства отыщутся. Достичь первой поможет лишь воля».

– Это как сказать.

– Интересный взгляд. Это из поздних писем, тысяча восемьсот восемьдесят шестой год. Искусство как воля. Мало кто из женщин под таким подпишется. И похоже, не только из женщин.

– У вас сохранились её письма?

– Некоторые. Письма к родным – такие вот увещевания, жалобы, советы, как печь хлеб, как делать вино. Есть несколько писем из Ричмонда, одно или два из Бретани – вы, может быть, знаете: у неё там были родственники и она их навещала. Близких друзей, кроме мисс Перстчетт, у неё не было, но с мисс Перстчетт они жили в одном доме – какая тут переписка. До подготовки писем к изданию дело не дошло – Леонора Стерн пытается что-то из них составить, но их немного наберётся. Я подозреваю, что неизвестные письма могут обнаружиться в Сил-Корте, у сэра Джорджа Бейли, только он никого к себе не пускает. Накинулся на Леонору с дробовиком. Я просила её туда съездить вместо меня: она, как вам известно, из Таллахасси, а у нас, норфолкских Бейли, с семейством из Сил-Корта с давних пор нелады: тяжбы, взаимные обиды. Но из вмешательства Леоноры ничего хорошего не вышло. Ничего хорошего. Да, а откуда вы, собственно, взяли, что Падуб проявлял интерес к Ла Мотт?

– Я нашёл в принадлежавшей ему книге незаконченный черновик письма к неназванной женщине. И подумал, что, может быть, это Ла Мотт. Там ещё упоминался Крэбб Робинсон. Падуб писал, что она понимает его поэзию.

– Ну это вряд ли. Сомневаюсь, чтобы его поэмы пришлись ей по вкусу. Вся эта раздутая до космических масштабов мужественность. Эта злобная антифеминистская штучка про медиума – как её, «Духами вожденны», что ли? Эта помпезная многозначность. Что-что, а уж это Кристабель совершенно чуждо.

Роланд взглянул на бледные губы, так и брызжущие ядом, и совсем пал духом. Зачем он сюда приехал? Ведь она клеймила не только Падуба, но в каком-то смысле и его, Роланда, – по крайней мере, так он это воспринял.

А Мод Бейли продолжала:

– Я посмотрела у себя в картотеке – сейчас я занимаюсь обстоятельным исследованием «Мелюзины» – и нашла только одно упоминание о Падубе. В записке к Уильяму Россетти, оригинал в Таллахасси, насчёт одного стихотворения Ла Мотт, которое Россетти опубликовал. «В эти хмурые ноябрьские дни больше всего я напоминаю себе несчастное создание из фантастической истории Р. Г. П., томящееся в ужасном Глухом Покое,<sup>20</sup> приневоленное к смирению и всей душой жаждущее смерти. Только мужское героичество способно находить удовольствие, сооружая в воображении темницы для невинных, и только женское терпение способно вынести заточение в них наяву».

– Это она про «Заточённую волшебницу» Падуба?

Нетерпеливо:

---

<sup>20</sup> Глухой Покой – в некоторых средневековых монастырях так называли карцеры, куда заточали особо провинившихся монахов до конца жизни.

– Ну разумеется.

– Когда это написано?

– В тысяча восемьсот шестьдесят девятом году. По-моему. Ну да, правильно. С чувством сказано, но мало что доказывает.

– Разве что её неприязнь.

– Именно.

Роланд отхлебнул кофе. Мод Бейли сунула карточку обратно в картотеку. Глядя на каталожный ящик, она сказала:

– Вы, наверно, знаете Фергуса Вулфа. Он ведь, кажется, у вас в колледже работает?

– Да-да. Это Фергус и посоветовал, чтобы я расспросил про Ла Мотт именно вас.

Пауза. Мод Бейли перебирала пальцами, будто что-то с них счищала.

– Мы с Фергусом знакомы. Встречались в Париже на одной конференции.

А голос-то чуть-чуть оттаял, с недобрим чувством отметил про себя Роланд. Нет уже того начальственного высокомерия.

– Он рассказывал, – бесстрастно произнёс Роланд, высматривая, не промелькнёт ли в её лице немой вопрос: «Что рассказывал, как рассказывал?»

Мод Бейли поджала губы и поднялась:

– Пойдёмте, я вас отведу в Информационный центр.

\* \* \*

Библиотека Линкольнского университета ничем не напоминала Падубоведник. Стеклянная коробка, в которую упрятан скелет-каркас, сверкающие двери в стенах из стеклянных трубок – здание походило на ящик с игрушками или сооружение из деталей детского конструктора, вымахавшее до гигантских размеров. В раскраске книжных стеллажей из звонкого металла, мягких ковровых покрытий, глушащих шум шагов, красный цвет соседствовал с жёлтым, как на камзоле гамельнского Крысолова; так же были выкрашены перила лестниц, кабины лифтов. Летом тут, наверно, было очень светло и невыносимо душно, а сырыми осенними вечерами за многочисленными окнами серело грифельное небо, точно стеклянный ящик поместили в другой ящик, и на оконные стёкла рядами ложились отражения круглых ламп: волшебные огоньки феи Динь-Динь<sup>21</sup> в стране Нетинебудет. Женский Архив располагался в комнате-аквариуме с высоким потолком. Мод усадила Роланда, точно расшалившегося малыша, в кресло с полукруглой, в обхват, спинкой за стол из светлого дуба и начала выставлять перед ним коробки. «Мелюзина I», «Мелюзина II», «Мелюзина III» и «IV», «Мелюзина – неустановл. ред.», «Лирика – Бретонский цикл», «Духовная лирика», «Лирика – Разн.», «Бланш». Она раскрыла эту коробку и указала Роланду на толстую, в зеленом переплете книгу, немного смахивающую на гроссбух, с тёмными, в мраморных разводах форзацами:

**Журнал повседневных событий,**

**происходивших в нашем доме.**

Бланш Перстчетт

*Начат в день нашего сюда переезда*

*мая 1-го дня – в Майский праздник – 1858 года*

Роланд почтительно извлёк книгу. Прикасаясь к ней, он не ощущал той магнетической силы, которая исходила от двух черновиков, лежавших сейчас у него в кармане, и всё-таки дневник раздражил его любопытство.

---

<sup>21</sup> Фея Динь-Динь – героиня пьесы-сказки Дж. Барри «Питер Пэн» и основанной на ней повести «Питер и Венди».

Его беспокоила мысль, что вернуться в Лондон надо сегодня же: билет в оба конца действителен только один день. Его беспокоила мысль, что в разговоре с ним Мод едва сдерживает раздражение.

Роланд пролистал дневник. Страницы были исписаны прелестным взволнованным почерком, записи велись от случая к случаю. Ковры, гардины, тихие радости уединения. «Сегодня наняли старшую кухарку», новый рецепт тушёного ревеня, картина с изображением младенца Гермеса с матерью. И – наконец-то – завтрак у Крэбба Робинсона.

– Вот, нашёл.

– И прекрасно. Я вас оставляю. Зайду за вами перед закрытием. В вашем распоряжении часа два.

– Спасибо.

\* \* \*

Завтракали у мистера Робинсона, старого джентльмена, человека любезного, но прозаического. Он рассказал запутанную историю про бюст Виланда, спасённый им, к великой радости Гёте и других светочей литературы, от незаслуженного забвения. За всю беседу никто не сказал ничего интересного, и я, сидевшая тише воды ниже травы, не исключение, – впрочем, я и сама в исключения не метила. Были миссис Джонс, мистер Баджот, поэт Падуб – без супруги: миссис Падуб занемогла, – кое-кто из студентов Лондонского университета. Принцессой много восхищались, и было от чего. Она высказала весьма и весьма здравые мысли мистеру Падубу, чьи стихи мне совсем не по вкусу; Принцесса же напрямик объявила, что они ей очень нравятся, отчего он, конечно, так и растаял. Стихам его, на мой взгляд, недостаёт той лирической плавности и силы чувства, какие находишь у Альфреда Теннисона, притом я сомневаюсь, чтобы он писал искренне. Его поэма о Месмере для меня большая загадка: никак не разберу, как же он относится к животному магнетизму, стоит ли за него или насмешничает. То же и с другими его произведениями, и от этого часто берёт сомнение: да хочет ли он вообще что-то сказать этими гремучими словами? Что до меня, то мне пришлось выдержать целый допрос, который учинил мне какой-то одержимый одною мыслью юный либерал из университетских, домогавшийся моего мнения о трактарианцах.<sup>22</sup> Ну и удивился бы он, выскажи я своё мнение об этом предмете, но я предпочла не давать ему случая свести более близкое знакомство и лишь отмалчивалась, улыбалась да беспрестанно кивала, ни единым словом не выдав своих мыслей. Я почти обрадовалась, когда мистер Робинсон пустился рассказывать всему обществу, как они с Водсвортом путешествовали по Италии, как Водсворт чем дальше, тем больше тосковал по дому, так что убедить его любоваться итальянскими видами стоило немалых трудов.

Я тоже тосковала по дому и едва дождалась той минуты, когда двери нашего бесценного парадного наконец закрылись за нами и мы остались вдвоём в тиши нашей маленькой гостиной.

Если бы мне хватило духу, я бы ответила мистеру Робинсону, что дом – вещь не пустая, то есть если это не временное пристанище, а в самом деле

---

<sup>22</sup> Трактарианцы – участники Оксфордского движения, возникшего в 1830-х гг. течения в Англиканской церкви, которое отстаивало идею о тесной связи англиканства с Римской католической церковью.

свой дом, как наше милое гнёздышко. Когда я задумываюсь о своей прежней жизни, когда вспоминаю, какой рисовалась мне тогда самая вероятная участь, ожидающая меня впереди, – отведённое из милости местечко в дальнем уголке ковра в чужой гостиной, или каморка прислуги, или ещё что-нибудь не лучше, – я благодарна за каждую мелочь, несказанно мне дорогую.

Мы с Принцессой подкрепились холодной курицей с салатом, который приготовила Лайза, после обеда прогулялись по парку, поработали, вечером – кружка молока и ломтик белого хлеба, посыпанный сахаром: трапеза во вкусе Водсворта. Потом музицировали и пели дуэтом, читали вслух избранные места из «Королевы фей».<sup>23</sup> Наши дни сплетаются из нехитрых житейских утех, чью важность не стоит преувеличивать, и утех более высокого порядка, в сфере Искусства и Мысли, – этим утехам мы теперь можем предаваться невозбранно, ибо нету рядом ни запретителей, ни строгих судей. Поистине Ричмонд – это Беула,<sup>24</sup> сказала я, но Принцесса добавила: «Лишь бы какая-нибудь злая фея не позавидовала нашей счастливой участи».

Последующие три с половиной недели не отмечены ничем особенным: упоминания незамысловатых блюд, прогулки, чтение, музыка, задуманные Бланш картины. И вдруг Роланд наткнулся на фразу, которая заслуживала внимания. А может, и не заслуживала. Если вчитаться, всё-таки заслуживала.

Подумываю написать маслом сцену из Мэлори: пленение Мерлина девою Ниневой<sup>25</sup> или одинокую Деву из Астолата.<sup>26</sup> В голове теснятся сотни смутных образов, но ни одного ясного, главного. Всю неделю зарисовывала дубы в Ричмондском парке: мой штрих слишком воздушен и не в силах передать их матёрую кряжистость. Отчего мы непременно стараемся вывести грубую силу в привлекательном виде? Ниневу или Деву-Лилию надо бы писать с натуры, но просить Принцессу, чтобы она подарила мне столько времени, я не решаюсь, хотя, смею думать, она не скажет, что время, когда она позировала мне для «Кристабели перед сэром Леолайном»,<sup>27</sup> пропало совсем уж попусту. Картины мои такого жиденького письма, что походят на витражи: витраж может ожить, заиграть, только если там, в пространстве за ним, заблещет свет, но за картиной нет никакого «там», никакого пространства. Ах, как не хватает мне силы! Принцесса повесила «Кристабель» у себя в спальне, и в утренних лучах все изыяны картины так и лезут в глаза. Принцессу очень взволновало полученное нынче длинное письмо; читая его, она всё улыбалась, мне не показала и, дочитав, тут же сложила и спрятала.

Запись не давала никаких оснований считать это «длинное письмо» тем самым посланием Падуба – тут Роланд исходил только из цели своих поисков. А так – письмо и письмо. Получала ли Кристабель ещё письма? Через три недели в дневнике появляется ещё одна многозначительная/незначительная запись:

<sup>23</sup> «Королева фей» – поэма английского поэта Эдмунда Спенсера (1552–1599).

<sup>24</sup> Беула – страна блаженства (название восходит к Книге пророка Исаии, 62: 4; в русском синодальном переводе это слово передано как «замужняя» (земля). В «Пути Паломника» Дж. Беньяна Беула – край, где отдыхают паломники перед уходом в жизнь вечную.

<sup>25</sup> Эпизод из IV книги романа Т. Мэлори «Смерть Артура», в которой рассказывается, как одна из девиц Владычицы Озера, Нинева (Вивиян), пленила и погубила волшебника Мерлина.

<sup>26</sup> История Прекрасной Девы из Астолата («Девы-Лилии»), умершей от любви к рыцарю Ланселоту, рассказывается в XVIII книге романа Мэлори.

<sup>27</sup> Герои поэмы Т. С. Кольриджа «Кристабель».

Мы с Лайзой стряпаем желе из яблок и айвы. По всей кухне, как клочья паутины, – куски кисеи, хитроумно растянутые меж ножек перевёрнутых стульев, из кисеи капает вариво. Лайза поминутно лижет желе – схватилось или нет, даже язык обожгла; с ложки не пробует: то ли жадничает, экономит, то ли норовит показать усердие. (Жадность за Лайзой водится. Мне сдаётся, что по ночам она уплетает хлеб и фрукты. Перед завтраком я обнаруживаю, что от булки в хлебнице кто-то – не я – совсем недавно отрезал кусок.) Принцесса в этом году нам не помогает: всё дописывает своё письмо с рассуждениями о литературе, а меня уверяет, что не письмо пишет, а спешит закончить «Стеклянный гроб» для своей книжки сказок. Стихи она, как видно, сочиняет реже, чем прежде. И уже не показывает мне их вечерами, как бывало. За всей этой перепиской она губит своё истинное дарование. А уж ей-то нет нужды поощрять это почтовое угодничество. Она и без него знает себе цену. Мне бы так знать свою.

Спустя две недели:

Письма, письма, письма. И все не ко мне. Мне про них – ни слова, мне их не показывают. Но я, милостивая государыня, не слепая, я не горничная, приученная не замечать, чего не положено. Не трудитесь поспешно прятать Ваши письма в корзинку с рукодельем, незачем бежать к себе и засовывать их в стопку носовых платков. Я не соглядатай, не любопытная пролаза, не приставленная к Вам гувернантка. Да-с, кто-кто, только не гувернантка. От этой участи я, благодаря Вам, избавлена и никогда, даже на миг, на единый миг не дам Вам повода упрекнуть меня в неблагодарности или навязчивости.

Спустя две недели:

Итак, у нас завёлся Чужой. Кто-то шныряет вокруг нашего тихого домика, вынюхивает, тихонько дёргает ставни, пытит под дверями. В прежние времена, чтобы отвести зловредных духов, над дверью вешали гроздь рябины и найденную подкову. Надо и мне повесить на видном месте: может, хоть так помешаю ему пробраться в дом. Пёс Трей, когда поблизости чужие, делается неспокоен. Он топорщит шерсть на загривке, как волк, который почуял охотника, и хватает зубами воздух. Каким маленьким, каким укромным представляется жилище, когда ему грозит беда. Какие махины эти замки и как страшно затрещат они под ударами!

Спустя две недели:

Куда девалась задушевность наших бесед? Где то малое, но сокровенное, что рождало между нами тайный, стройный лад? Неотвязный Соглядатай приникает к каждой трещинке, к каждой щёлке и беззастенчиво подсматривает за нами. Она смеётся и твердит, что это всего лишь досужее любопытство, что самого важного, самого заветного он всё равно не увидит, и это правда: не увидит, не увидит ни за что. Но ей в забаву, когда он слоняется и пытит за крепкими стенами нашего дома, ей воображается, что он всегда будет так же смирен, как нынче. Не то чтобы я считала себя рассудительнее – я вообще не рассудительна, никогда рассудительностью не отличалась, – но мне страшно за неё. Я спросила, много ли она написала за последнее время, и она со смехом ответила, что сейчас каждый день узнаёт всё больше для себя нового, очень много нового, а когда учение закончится, у неё появится множество новых тем и новых мыслей. И она поцеловала меня, и назвала «славная моя Бланш», и

прибавила: «Ты же знаешь, душа у меня чиста, дух крепок и безрассудство не в моём характере». Я возразила, что мы все, все безрассудны, одна только помощь свыше способна укрепить нас в минуту слабости. Она же отвечала, что никогда ещё эта помощь не была ей так ощутительна, как в эти дни. Я поднялась к себе в спальню и в отчаянии стала молиться так же горячо, как молилась когда-то о том, чтобы мне представился случай оставить дом миссис Типи, – тогда я и не надеялась, что моя молитва будет услышана. Сквозняк трепал пламя свечи, огромные тени ощупывали потолок, точно цепкие пальцы. Хорошо бы окружить такими вот цепкими тенями фигуры Мерлина и Ниневы. Она пришла, застала меня на коленях, подняла и сказала, что нам нельзя ссориться, что она никогда, никогда не даст мне повода усомниться в её чувствах – прочь эти мысли. Она не лукавила, это ясно. Вид у неё был взволнованный, в глазах стояли слёзы. Мы успокоились, умолкли и долго-долго оставались вместе, заполняя это молчание на наш лад.

На другой день:

Волк больше не рыщет вокруг дома. Место у очага осталось за Треем. Я начала писать Деву-Лилию Астолатскую – мне вдруг показалось, что это наилучший предмет для картины.

Это была последняя запись. На ней дневник неожиданно, не дотянув даже до конца года, обрывался. Были ли другие дневники? Роланд заложил бумажками страницы с записями, которые складывались – или не складывались – в рыхлое повествование. Отождествлять «Чужого» с автором писем, автора писем с Рандольфом Генри Падубом не было никаких оснований, и всё же Роланд ни на минуту не сомневался, что все трое – один и тот же человек. Почему же тогда Бланш не пишет об этом прямо? Надо бы спросить про «Чужого» у Мод Бейли. Но как её спросишь, не открыв или не выдав причины своего интереса? А потом ёжиться под её укоризненными и презрительными взглядами?

Мод Бейли высунула голову из-за двери:

– Библиотека закрывается. Что-нибудь нашли?

– Да вроде нашёл. Правда, может, это всё мои домыслы. Тут есть некоторые факты, и я хотел бы их у кого-нибудь... у вас уточнить. Можно будет сделать ксерокопию? А то я не успел выписать. Я...

Сухо:

– Плодотворно вы сегодня поработали.

А потом мягче:

– Можно сказать, не скучали.

– Не знаю, не знаю. По-моему, пустые хлопоты.

Мод уложила дневник обратно в коробку.

– Если надо помочь, я к вашим услугам, – объявила она. – Пойдёмте выпьем кофе. На факультете женской культуры есть кафетерий для преподавателей.

– А меня туда пустят?

– Разумеется, – ледяным тоном ответила Бейли.

\* \* \*

Они присели за низкий столик в углу под рекламным плакатом университетских яслей. Со стены напротив на них смотрели реклама консультационной службы «Всё про аборты»: «Женщина вправе распоряжаться своим телом. Женщины – главная наша забота» и афиша «Феминистского ревю»: «Только у нас! Фееричные Феечки, Роковые Вамп, Фаты Морганы,

Дочери Кали. До жути прикольно, до слёз смешно – как умеют смешить и грешить только женщины». Народу в кафетерии было немного: в противоположном углу похихатывала женская компания, все до одной в джинсах, у окна, склонив друг к другу розовые головы, ошетилившиеся косичками, озабоченно беседовали две девицы. В таком окружении разительная элегантность Мод Бейли выглядела особенно необычно. Мод казалась воплощённой неприступностью, и Роланд, который от безвыходности уже решился показать ей ксерокопии писем и настроился на доверительный разговор, поневоле подвинулся ближе, как будто пришёл на свидание, и заговорил вполголоса:

– Что вы можете сказать про этого Чужого, который так перепугал Бланш Перстчетт? Волк, который рыскал вокруг дома. Что о нём известно?

– Ничего определённого. Леонора Стерн, помнится, предположила, что это некий мистер Томас Херст, молодой человек из Ричмонда: он любил бывать у Кристабель и Бланш и вместе с ними музицировать. Девушки превосходно играли на фортепьяно, а он аккомпанировал на гобое. Сохранились два письма, которые написала ему Кристабель. К одному приложено кое-что из её стихов, – на наше счастье, он их сберёг. В тысяча восемьсот шестидесятом году он на ком-то там женился и исчез со сцены. Что Херст за ними подглядывал – это, скорее всего, фантазии Бланш. У неё было буйное воображение.

– Притом она ревновала.

– Конечно ревновала.

– А «письма с рассуждениями о литературе», о которых она упоминает? От кого они? Имеют они какое-нибудь отношение к Чужому?

– Насколько мне известно, нет. Она от многих получала обстоятельные письма, например от Ковентри Патмора\*, – его восхищала её «милая простота» и «благородное смиренно-мудрие». Кто ей только не писал. Вот и это могли быть письма от кого угодно. А вы думаете, от Рандольфа Генри Падуба?

– Нет. Просто... Давайте-ка я вам кое-что покажу.

Роланд достал ксерокопии писем и, пока Мод разворачивала, предупредил:

– Сначала объясню. Об их существовании даже не подозревают. Я их нашёл. И, кроме вас, никому не показывал.

– Почему? – спросила Мод, не отрываясь от чтения.

– Не знаю. Взял и оставил у себя. Почему – не знаю.

Мод дочитала.

– Что ж, – заметила она, – даты совпадают. Материала на целую историю. Основанную на одних домыслах. Она заставит многое пересмотреть. Биографию Ла Мотт. Даже представления о «Мелюзине». Эта «история про фею»... *Любопытно.*

– Любопытно, правда? Биографию Падуба тоже придётся пересмотреть. Его письма – они обычно такие пресные, учтивые, такие бесстрастные, а эти совсем другие.

– А где подлинники?

Роланд запнулся. Придётся сказать. Ведь без помощника не обойтись.

– Я взял их себе, – признался он. – Нашёл в одной книге и взял. Не раздумывая: взял – и всё.

Строго, но уже оживлённое:

– Но почему? Почему вы их взяли?

– Потому что они были как живые. В них звучала такая настойчивость – не мог я их оставить просто так. Меня словно толкнуло что-то. Словно озарило, как вспышка. Я хотел их вернуть на место. Я верну. На следующей неделе. Просто ещё не успел. Нет, я их не *присвоил*, ничего такого. Но ни Собрайлу, ни Аспидсу, ни лорду Падубу они тоже не принадлежат. То, что в них, – это очень личное. Я говорю не совсем понятно...



– Да, не совсем. В научных кругах это открытие произведёт сенсацию. А вместе с ним и вы.

– Вообще-то, я действительно хотел сам заняться их исследованием, – простодушно согласился было Роланд и вдруг сообразил, что его оскорбили. – Нет-нет, что вы, я не за тем, совсем не за тем... Просто они почему-то стали мне очень дороги. Вы не понимаете. Я ведь не биограф, я литературный критик старой школы, работаю с текстами. Это не по моей части – такие вот... У меня в мыслях не было на них заработать... На следующей неделе я их верну. Я просто хотел сохранить их в тайне. Чтобы личное так и осталось личным. Я хотел их исследовать.

Мод покраснела. Слоновая кость подёрнулась румянцем.

– Простите. Сама не пойму, чего это я вдруг... Но ведь это первое, что приходит в голову. Я всё-таки не представляю, как это можно вот так взять и скрыть от всех два важных документа, – я бы на такое не решилась. Нет, теперь-то мне ясно, что у вас были другие причины, теперь-то ясно.

– Я только хотел узнать, что было дальше.

– Ну, снять ксерокопии с дневника Бланш я вам позволить не могу: у него корешок еле держится. Хотите – сделайте выписки. Да поройтесь ещё в этих ящиках. Мало ли что там обнаружится. В конце концов, сведений о Рандольфе Генри Падубе в них пока ещё никто не искал. Снять вам до завтра комнату в общежитии?

Роланд задумался. Комната в общежитии: что может быть соблазнительнее? Тихий угол, где можно провести ночь одному, без Вэл, погрузиться в мысли о Падубе, побыть самому себе хозяином. Но комната в общежитии ему не по карману. Да и обратный билет у него на сегодня.

– Я уже купил обратный билет.

– Можно всё переиграть.

– Нет, я лучше поеду. Денег нет. Я же безработный филолог.

Румянец Мод стал совсем пунцовым.

– Я об этом не подумала. Тогда можете остановиться у меня. Свободная кровать найдётся. Чем приезжать ещё раз, тратить на дорогу, лучше остаться... Ужин я приготовлю... А завтра посмотрите остальной архив. Вы меня не стесните.

Роланд покосился на чёрные, лоснящиеся строки ксерокопии, заменившие собой жухлые бурые начертания.

– Ну хорошо, – сказал он.

\* \* \*

Мод жила на окраине Линкольна, на первом этаже кирпичного дома георгианской постройки. Квартира её – две просторные комнаты, кухня и ванная – была когда-то целым скопищем контор живших в этом же доме коммерсантов. Входная дверь в квартиру была в те годы парадным входом в контору негоцианта. Потом дом отошёл к университету, и сегодня на верхних этажах квартировали преподаватели. Окно кухни, отделанной матовым кафелем, смотрело на кирпичный двор, уставленный кадками с вечнозелёными кустиками.

Обстановка гостиной ничем не выдавала, что её хозяйка – специалист по Викторианской эпохе. Ослепительно-белые стены, белые светильники, белый обеденный стол, на полу – беле-сый ковёр. Гостиную наполняли вещи самых разных цветов: тёмно-синего, багрового, канареечного, густо-розового – никаких блеклых или пастельных тонов. В нишах с подсветкой по сторонам камина красовались флакончики, пузырьки, пресс-папье и тому подобные стеклянные безделушки. Попав в гостиную, Роланд почувствовал себя посторонним и внутренне сжался, как будто пришёл на вернисаж или на приём к хирургу. Мод оставила его и пошла готовить

ужин – от помощи она отказалась, – а Роланд позвонил к себе в Патни. Трубку никто не взял. Мод принесла ему выпить и предложила:

– Хотите почитать «Сказки для простодушных»? У меня есть первое издание.

Устроившись на огромном диване возле камина с горящими поленьями, Роланд стал перелистывать том в потёртом переплёте из зелёной кожи, на котором отдалённо готическими буквами было вытиснено заглавие.

Жила-была Королева, и было у неё, по её разумению, всё, чего душа пожелает. Но вот услышала она от некоего странника о невиданной птичке-молчунье: живёт эта пичуга среди заснеженных гор, гнездо свивает один только раз, выводит золотых и серебряных птенчиков и, только тогда пропев единственную на своём веку песню, исчезает, как снег в долинах. И возмечтала Королева об этой птичке...

Жил да был бедный башмачник, и были у него три сына, славные, крепкие юноши, и две дочки-красавицы. Была ещё третья, но такая неумелая: то тарелку разобьёт, то пряжу спутает, масло у неё не пахнет, молоко сворачивается, станет очаг разжигать – дыму в жильё напустит. Ни к чему не способна, вечно мыслями в облаках. Говаривала ей мать: «Свести бы тебя в дремучий лес, чтобы ты там сама о себе заботилась, – мигом бы научилась слушать добрых людей и всякую работу делать как надо». И потянуло неумеху в дремучий лес: хоть немножко побродить там, где нету ни тарелок, ни рукоделья. Может, там-то и выпадет ей случай исполнить то, чего просила её душа...

Роланд принялся рассматривать гравюры, автор которых был указан на титульном листе: «Иллюстрации Б. П.». Вот женская фигура на лесной поляне, на голову наброшен платок, фартук развевается, на ногах – большущие деревянные башмаки; вокруг сомкнулись мрачные сосны, сквозь сплетения хвоистых ветвей смотрят бесчисленные белые глаза. А вот другая фигура, закутанная, кажется, в сеть, унизанную бубенцами; спутанные сетью кулаки колотят в дверь домика, а наверху к окнам прильнули злобные бугристые лица. И снова мрачные деревья, у их подножия хижина, вокруг неё, положив морду на белое крыльцо, по-драконьи обвился длинным изгибистым телом волк; шкура волка выписана в той же манере, что и иглистый лапник.

\* \* \*

На ужин Мод Бейли подала консервированных креветок, омлет, зелёный салат, рокфор, поставила на стол вазу с кислыми яблоками. Разговорились про «Сказки для простодушных» – по словам Мод, жутковатые истории, заимствованные большей частью у братьев Гримм и Тика, причём почти в каждой действовало животное и кто-нибудь кого-нибудь не слушался. Вместе посмотрели одну сказку: про женщину, которая обещала отдать всё на свете, лишь бы у неё был ребёнок – какой угодно, хоть ёж. Так и случилось: она родила чудище, наполовину мальчика, наполовину ежа. Бланш изобразила мальчугана-ежа на высоком стульчике из викторианской детской, за столом в викторианском вкусе, позади чернеют стёкла буфета, а на передний план бесцеремонно вторглась ручища, которая требовательно указывает на стоящую перед малышом тарелку. Тупое мохнатое рыльце скривилось, точно зверёк вот-вот захнычет. Вздрыбленные колючки на уродливой головке напоминают лучи нимба. Этот колючий нимб охватывает лишённую шеи фигурку до плеч, а ниже несуразно топорщится крахмальный плоёный воротник. На короткопалых лапках малыша видны тупые коготки.

Роланд спросил, что пишут об этой сказке литературоведы. Мод рассказала, что, по мнению Леоноры Стерн, в ней выразился страх женщины викторианского времени – да и не только викторианского, – что её ребёнок окажется уродом. Подоплёка примерно та же, что у истории о Франкенштейне, навеянной Мэри Шелли воспоминаниями о родовых муках и отчаянным страхом перед деторождением.

– Вы тоже так думаете?

– Это известная сказка – сказка братьев Гримм. Ёж верхом на чёрном петухе сидит на дереве, играет на волынке и дурачит прохожих. Но по-моему, новая обработка многое говорит о самой Кристабель. Она, как мне кажется, просто не любила детей – в те времена это было общее свойство многих незамужних тётушек.

– А Бланш ёжика жалко.

– Жалко? – Мод пригляделась к картинке. – Да, правда. Зато Кристабель его не пожалела. У неё в сказке он становится ловким свинопасом: откармливает свиней лесными желудями, стадо разрастается, а потом – ликование на бойне, свиное жаркое, шкварки. Каково это читать современным детям? Они льют слёзы даже по тем свинкам, в которых вселились изгнанные Иисусом бесы. У Кристабель ёж – это какая-то сила природы. Когда всё против него, в нём просыпается азарт. В конце концов он получает в жёны королевскую дочь, которая должна спалить его колючую шкурку. Сжигает – и в объятиях у неё оказывается прекрасный принц, слегка опалённый и закопчённый. И Кристабель заканчивает так: «А жалел ли он, что потерял своё оружие, острые иглы, и свою дикарскую сметливость, – про то в истории не рассказывается, ибо дело пришло к счастливому исходу и нам пора поставить точку».

– Здорово.

– Мне тоже нравится.

– А вы занялись Ла Мотт, потому что она ваша родственница?

– Наверно... Да нет. Просто когда я была совсем маленькая, мне запомнилось одно её стихотворение. Понимаете, у нас, у Бейли, Кристабель не считается каким-то там предметом гордости. Бейли к литературе равнодушны. Я – выродок. Моя норфолкская бабушка говорила, что слишком заучишься – будешь плохой женой. И потом, норфолкские Бейли с линкольнширскими Бейли не общаются. У линкольнширских все сыновья погибли в Первую мировую, выжил только один, он вернулся с войны инвалидом и едва сводил концы с концами. А у норфолкских родственников деньги не переводились. София Ла Мотт вышла за *линкольнширского* Бейли. Так что в детстве я и не знала, что у нас в роду была поэтесса, то есть что у нашего предка была свояченица-поэтесса. Два родственника выиграли на скачках в Дерби, дядюшка совершил рекордное восхождение на Эйгер – вот чем гордились.

– И что это за стихотворение?

– О Сивилле Кумской. Из книжки, которую мне подарили как-то на Рождество. Она называлась «Призраки и другие диковины». Сейчас покажу.

Роланд прочёл:

*Кто ты?*

Остов бессильный,  
Ссохшийся, мрачный  
В склянице пыльной  
На полке чердачной.

*Кем была прежде?*

Феб наущал меня,  
Жёг меня жар его.  
Это кричу не я:

Голос мой – дар его.

*Что ты видишь?*  
Зрела чудны дела:  
Тверди творенье,  
Цезаря видела  
Я погребенье.

*На что уповаешь?*  
Чувство остынет.  
Клятвам не верьте.  
Как благостыни  
Жажду я смерти.<sup>28</sup>

– Грустное стихотворение.

– Маленьким девочкам всегда грустно. Они любят погрустить: им кажется, будто грусть – это душевные силы. Сивилле в бутылке не грозили никакие напасти, её даже тронуть никто не мог – а она хотела умереть. Я и не знала тогда, что это за Сивилла такая. Ритм понравился. А потом, когда я засела за статью о пороговой поэзии, стихотворение вдруг вспомнилось, а с ним и Кристабель. Я писала статью о пространстве в представлении женщин Викторианской эпохи. «Маргинальные существа и лиминальная<sup>29</sup> поэзия». Об агорафобии<sup>30</sup> и клаустрофобии, о противоречивом желании вырваться на простор, на вересковые пустоши, в безграничность – и в то же время забиться, замкнуться в убежище потеснее. Как Эмили Дикинсон в своём добровольном заточении, как Сивилла в своей бутылке.

– Или как Волшебница Падуба в своём Глухом Покое.

– Это другое. Он наказывает её за красоту и, как ему кажется, греховность.

– Ну нет. Он пишет о тех, кто, как и она сама, считает, что её *следует* наказать за красоту и греховность. Ведь она сама согласна с этим приговором. Она – но не Падуб. Падуб предоставляет читателям решать, кто прав, кто не прав.

В глазах Мод мелькнуло желание поспорить, но вместо этого она спросила:

– А вы? Почему вы занимаетесь Падубом?

– Это от матери: она его очень любила. Она в университете изучала английскую литературу. Мне с детства знакомы его образы: его сэр Уолтер Рэли\*, король Оффа\* на своём валу, поэма про битву при Азенкуре.<sup>31</sup> А позднее «Рагнарёк». – Роланд замялся. – Когда я окончил школу и размышлял, что я оттуда вынес, они-то и оказались самым живым воспоминанием.

И Мод улыбнулась:

– Вот-вот. Это точно. С нашим образованием мало что остаётся в живых.

---

<sup>28</sup> По преданию (отраженному, в частности, в «Метаморфозах» Овидия), Аполлон, влюбленный в Сивиллу Кумскую, наделил её даром провидения и долголетием, однако не дал ей вечной молодости, отчего Сивилле пришлось долгие годы жить сморщенной высохшей старухой. Стихотворение имеет источником фрагмент из романа Петрония «Сатирикон»: «Видал я Кумскую Сивиллу в бутылке. Дети её спрашивали: „Сивилла, чего ты хочешь?“ А она в ответ: „Хочу умереть“».

<sup>29</sup> Лиминальность (от лат. *limen* – граница, предел) – пограничное состояние, предшествующее переходу в другое состояние.

<sup>30</sup> Агорафобия – боязнь открытого пространства.

<sup>31</sup> Битва при Азенкуре (1415) – одно из важнейших сражений Столетней войны, благодаря которому англичанам удалось занять Северную Францию и Париж.

\* \* \*

Мод постелила ему на высоком белом диване в гостиной. Не набросала грудку спальников и одеял, а именно постелила: свежие, только из стирки, простыни, подушки в хлопчатобумажных наволочках изумрудного цвета. Из выдвижного ящика под диваном вылезло белое ворсистое одеяло. Мод отыскала для Роланда новую зубную щётку в нераспечатанной упаковке и вздохнула:

– Обидно, что сэр Джордж такой. Такой жёлчный нелюдим. Кто знает, что у него хранится. Вы никогда не видели Сил-Корт? Викторианская готика – ажурнее некуда. Шпили, стрельчатые окна, и всё это в лесистой долине. Я могу вас туда свозить. Если у вас будет время. Вообще-то, всё, что связано с жизнью Кристабель, меня не так уж и занимает. Чудно: мне как-то даже неловко прикасаться к вещам, которые она держала в руках, осматривать места, где она бывала. Главное, её язык – правда? – её мысли...

– Совершенно справедливо.

– Всякие подробности, этот Чужой, которого боялась Бланш, – до них мне и дела не было. Знаю только, что ей кто-то там померещился, а кто он – какая разница? Но вы что-то во мне всколыхнули...

– Посмотрите, – произнёс Роланд и достал из кейса конверт. – Я их захватил с собой. Что ещё было с ними делать? Чернила, правда, выцвели, но...

*Мысли о нашей необычной беседе не покидают меня ни на минуту... Я чувствую, что мы с Вами непременно должны вернуться к нашей беседе, и уверенность эта не блажь, не самообман...*

– Да, – сказала Мод. – И правда как живые.

– Они не закончены.

– Не закончены. Только начало. Так хотите посмотреть, где она жила? Где как раз всё и закончилось – закончилась её жизнь?

Роланду вспомнился потолок в потёках кошачьей мочи, комната с видом в тупик.

– Ну что ж... Раз уж я всё равно здесь...

– Пора спать. В ванную идите первым. Пожалуйста.

– Спасибо. Спасибо за всё. Спокойной ночи.

\* \* \*

Роланд, затаив дыхание, вступил в ванную. Обстановка тут не располагала устроиться с книгой или нежиться в ванне: всё вокруг холодное, зелёное, стеклянное, всё сияет чистой. На массивных зеленоватых, цвета морской волны, стеклянных полочках застыли крупные флаконы темно-зелёного стекла, пол выложен стеклянными плитками, в которых, если вглядеться, на миг открывалась обманчивая глубина. Занавеска, отгораживающая ванну, блестела, как остекленевший водопад, и такая же полная влажных отсветов занавеска закрывала окно. На полотенцесушителе в безукоризненном порядке висели сложенные полотенца с зелёным геометрическим узором. Нигде ни крупинки талька, ни мыльного пятнышка. Склонившись над раковиной почистить зубы, Роланд увидел на её серо-зелёной поверхности своё отражение. В памяти возникла его собственная ванная: вороха старого белья, открытые футлярики с тушью для ресниц, развешанные где попало рубашки и чулки, липкие флаконы с кондиционером для волос, тюбики крема для бритья...

А чуть позже в той же ванной, подставив рослое тело под горячую шипящую струю душа, стояла Мод. Ей представлялась такая картина: огромная кровать, раскиданное и смятое

постельное бельё – замызганные простыни и покрывало там и сям торчат островерхими буграми, как взбитый белок. Это опустевшее поле битвы возникало перед ней всякий раз, как она вспоминала Фергуса Вулффа. А если ещё поднапрячь память, вспоминались немывые кофейные чашки, брюки, валявшиеся там, где их сбросили, пачки пыльных бумаг с круглыми следами от винных бокалов, ковёр весь в пыли и сигаретном пепле, запах несвежих носков и всякие другие запахи. «Фрейд был прав, – размышляла Мод, старательно намыливая свои белые ноги. – Влечение – обратная сторона отвращения».

Парижская конференция, на которой она познакомилась с Фергусом, называлась «Гендерные аспекты автономного текста». Мод выступала с докладом о пороговой поэзии, а Фергус представил своё капитальное исследование «Сексуально активный кастрат: эгофаллоцентрическая структуризация гермафродитических персонажей Бальзака». Основные положения его доклада были выдержаны как будто бы в феминистском духе. Но тон выступления отдавал ёрничеством, дискредитировал идею. Фергус резвился на грани самопародии. Он так и ждал, что Мод нырнёт к нему в кровать. «Между прочим, ты и я – мы тут самые светлые головы. Эх, до чего же ты хороша: самая красивая женщина на свете. Я тебя очень, очень хочу. Это сильнее нас, неужели не понимаешь?» Задним числом Мод так и не нашла разумного объяснения, почему «это» оказалось «сильнее её», но желание Фергуса исполнилось. А потом у них что-то разладилось.

Мод поёжилась. Она натянула удобную ночную рубашку с длинным рукавом, сняла купальную шапочку и распустила свои пшеничные волосы. Яростно расчесала их, придерживая, чтобы не разлетались, и оглядела в зеркале своё безупречно правильное лицо. Красивая женщина, по словам Симоны Вайль\*, глядя в зеркало, говорит себе: «Это я». Некрасивая с той же убеждённостью скажет о своём отражении: «Это не я». Мод понимала, что при таком резком противопоставлении всё получается чересчур упрощённо. Это кукольное лицо в зеркале было как маска, не имело к ней никакого отношения. Об этом быстро догадались феминистки на одном собрании: когда Мод взяла слово, её тут же освистали и ошिकाки; они решили, что пышное величие, которым природа увенчала её голову, – это искусственная приманка для мужчин, результат воздействия какого-то противоестественного средства для волос, придающего им товарный вид. Начав преподавать, Мод подстриглась так коротко, что голова казалась почти обритой, белая кожа под робкой порослью зябла. Фергус разглядел, как боится она своего кукольного лица-маски, и взялся за неё по-свойски: попытался раздражить её хорошенько, чтобы она выкинула все страхи из головы. В ход пошли строки Йейтса, которые Фергус декламировал со своим ирландским акцентом:

Кто, пленившись видом  
Взбитых у висков  
Кудрей неприступных —  
Крепостных валков, —  
Скажет: «Главное – душа, не прелесть  
Жёлтых завитков?»<sup>32</sup>

– Эх ты! – добавил Фергус. – Умная, образованная женщина, а вон на что поддалась.  
– Ничего я не поддалась, – возразила Мод. – Я на это вообще не обращаю внимания.

Тогда Фергус стал приставать: если ей всё равно, пусть отпустит волосы, – и она согласилась. Волосы росли, закрыли виски, затылок, шею, спустились до плеч. Она отпускала их ровно столько, сколько продолжался их роман. Когда Фергус и Мод расстались, на спину ей уже легла порядочная коса. Снова остригать волосы Мод не стала из гордости: не хотелось показывать,

<sup>32</sup> У. Б. Йейтс. К Энн Грегори.

что с его уходом в её жизни что-то изменилось. Но теперь волосы всегда были спрятаны под каким-нибудь головным убором.

\* \* \*

Высота просторного дивана Мод, на котором расположился Роланд, казалась ему верхом блаженства. В комнате стоял едва уловимый винный дух и тонкий аромат корицы. На уютное бело-изумрудное ложе падал свет массивной бронзовой лампы под зелёным абажуром с кремовым исподом. Но что-то в душе у Роланда никак не могло настроиться на сонный лад, что-то ворочалось от саднящего чувства: точно настоящая Принцесса на горошине на гряде пуховиков. «Принцесса»... Так Бланш Перстчетт звала Кристабель. Да и Мод Бейли – хрупкая принцесса-недотрога. Роланд оказался случайным гостем в женской цитадели. Как некогда Рандольф Генри Падуб. Раскрыв «Сказки для простодушных», Роланд погрузился в чтение.

## СТЕКЛЯННЫЙ ГРОБ

Жил да был на свете портняжка, славный неприметный человек. Шёл он как-то лесом, куда занесло его, должно быть, во время странствий в поисках работы: в те поры мастеровые люди, чтобы хоть немного заработать на пропитание, исхаживали много дорог, а наряды тонкой работы, какие выделял наш герой, раскупались не так бойко, как дешёвое, наспех пошитое платье, хоть то и сидело скверно и изнашивалось скоро. Но портняжке всё нипочём: он по-прежнему искал, не будет ли кому нужды в его умении. Вот идёт он по лесу и воображает, что где-то за поворотом ждёт его счастливая встреча. Да только кому тут повстречаться: ведь он забирался всё дальше в тёмную чащу, где и лунный свет не сиял, а лишь рассыпался по мху тупыми голубоватыми иголочками. И всё же набрёл он на поляну, а на поляне домик – стоит и будто его дожидается. И обрадовался же портняжка, когда увидел, что из щелей меж ставен пробивается жёлтый свет. Он смело постучал в дверь. В доме зашуршало, закрипело, дверь чуть-чуть приотворилась, и показался за нею старичок: лицо словно седой пепел, длинная косматая борода тоже седа.

«Я заплутавший в лесу путник, – сказал портняжка. – И ещё я искусный мастер. Брожу, ишу, не найдётся ли где работы».

«Не пушу я тебя, – отвечал седой старичок. – В искусных мастерах я нужды не имею, а вот не впустить бы мне вора».

«Будь я вор, – сказал портняжка, – я бы ворвался силой или залез тайком. Нет, я честный портной. Сделай милость, помоги».

А за спиной у старика стоит большой, с хозяина ростом, пепельно-серый пёс – глаза красные, из пасти жаркое дыхание. Пёс глухо поворчал, порычал, но потом сменил гнев на милость и приветливо махнул хвостом. Тогда старик сказал: «Вот и Отто почитает тебя честным человеком. Будь по-твоему, пушу тебя на ночлег, а уж ты отслужи честь по чести. Помоги приготовить ужин, прибраться – делай всякую работу, какая найдётся в моём скромном жилище».

Впустил он портняжку, и тот, вошедши в дом, увидал престранное собрание домочадцев. В кресле-качалке сидели петушок в ярких перьях и его белоснежная подруга. В углу, где камин, стояла коза чёрно-белой масти, с узловатыми рожками и глазами как бы из жёлтого стекла. На каминной полке

лежал большой-пребольшой кот, пёстрый, весь в разводах и подпалинах, – лежит и глядит на портняжку зелёными холодными, как самоцветы, глазами с щёлками-зрачками. А за столом стоит дымчатая коровка с тёплым влажным носом и бархатистыми карими глазищами, и дыхание её точно парное молоко. «Желаю здравствовать», – сказал портняжка всему обществу, потому что никогда не забывал об учтивости. Животные оглядели его испытующими умными глазами.

«Еда и питьё на кухне, – сказал седой старичок. – Займись-ка стряпнёй, а после вместе поужинаем».

И портняжка взялся за дело. Нашёл на кухне муку, мясо, лук, вылепил знатный пирог и украсил корку чудесными цветами и листьями из теста – мастер во всём мастер, хоть бы и брался не за своё ремесло. А покуда пирог поспевал, портняжка порылся на кухне, задал козе и корове сена, петушку и курице насыпал золотого пшена, коту принёс молока, а серому псу – костей да жил, от мяса для начинки оставшихся. Принялись портняжка и старик за пирог, а от пирога тёплый дух пышет по всему дому. Старик и говорит: «Отто правильно угадал: ты славный и честный человек. Обо всех позаботился, никого не обидел, ни от какой работы не уклонился. И хочу я тебя за твою доброту наградить. Вот тебе три подарка – какой выбираешь?»

И старик положил перед портняжкой три вещицы. Первая – сафьяновый кошелёк, в котором что-то позвякивало. Вторая – котелок, снаружи чёрный, а внутри блестящий, начищенный, посудина прочная и вместительная. А третья – стеклянный ключик тонкой затейливой работы, игравший всеми цветами радуги. Оглянулся портняжка на животных: не будет ли от них какого совета, а те только смотрят на него ласковыми глазами, и больше ничего. И подумал портняжка: «Про эти подарки лесных жителей я знаю. Первый – это, верно, кошелёк, в котором деньги не переводятся, второй – котелок, которому скажешь заветное слово – и будет тебе доброе угощение. Слышал я про эти диковины, встречал и тех, кто получал плату из таких кошельков и едал из таких котелков. Но стеклянный ключик – вещь видом не виданная, слухом не слыханная. И для чего такой ключ, в толк не возьму: повернёшь в замке – одни осколки останутся». Этот стеклянный ключик портняжка и выбрал. Мастер есть мастер: он-то понимал, какая сноровка нужна, чтобы выдуть из стекла такую тонкую бородку и стерженёк; притом же он никак не мог взять в толк, что это за ключ такой и для чего он предназначен, а любопытство способно толкнуть человека на что угодно. И портняжка сказал: «Выбираю этот красивый ключик». – «Такой выбор подсказало тебе не благоразумие, а удасть, – молвил старик. – Ключ этот – ключ к приключению. Если только ты соизволишь пуститься на его поиски».

«Отчего же не пуститься, – отвечал портняжка, – раз уж в этой глуши моё мастерство всё равно ни к чему и раз уж в выборе моём не было благоразумия».

Тут животные подошли поближе, обдавая портняжку своим парным дыханием, в котором слышался сладкий запах сена и летнее благообразие, и устремили на него ласковые ободряющие взоры нечеловечьих глаз, пёс положил голову ему на башмак, а пёстрый кот примостился на ручке его кресла.

«Выйди за порог, – сказал старик, – кликни Девуцу-Ветрицу из рода Западного Ветра, покажи ей ключ, и она отнесёт тебя куда надобно. Доверься ей без боязни, не противься. Станешь вырываться или досаждать вопросами



– она сбросит тебя в колючие заросли, откуда пока выберешься, живого места не останется. А как долетите до места, оставит она тебя среди безлюдной вересковой пустоши, на гранитной глыбище. Хоть и кажется, будто глыба лежит без движения от самого начала времён, это и есть ворота, за которыми ждёт тебя приключение. Положи на глыбищу перо из хвоста этого вот петушка, которое он охотно тебе пожертвует, и откроется вход. Не раздумывая, не страшась, спускайся под землю, всё ниже, ниже. Держи ключ перед собою, и он будет освещать тебе путь. Так придёшь ты в каменную палату и увидишь две двери, за которыми начинаются ветвящиеся ходы, но ты в них не вступай. Будет там ещё одна дверь, низкая, завешенная, за нею – ход вниз. Рукою ты завесы не касайся, а приложи к ней млечное белое пёрышко, что подарит тебе курочка. Тогда незримые руки раздвинут завесу, дверь за ней растворится, и ступай через неё в залу – там и найдёшь, что найдётся».

«Что ж, приключение так приключение, – сказал портняжка. – Правда, я страх как боюсь тёмных подземелий, куда не заглядывает дневной свет, а над головой тяжёлая толща».

Петух и курочка дали портняжке выдернуть у них по перу – одно чёрное, с изумрудным отливом, другое белое, как сливки. Попрощался портняжка со всеми, вышел на поляну и, воздев свой ключик, призвал Деву-Ветрицу.

Дрожь, плеск, шелест пробежали по кронам, заплясали лежавшие возле дома ключья соломы, взметнулась и закружилась вихрями пыль – то пролетала над лесом Деву-Ветрица. Длинные воздушные руки подхватили портняжку, и он, обмерев от восторга и страха, почувствовал, что поднимается ввысь. Сучковатые пальцы деревьев норовили его ухватить, но он, влекомый юрким порывом, всё уворачивался и наконец, взлетев выше леса, оказался в незримых объятиях стремительной стихии, что со стоном неслась в поднебесье. Прикинув к воздушной груди, он и не думал кричать или отбиваться, а заунывная песня Западного Ветра, в которой смешались морось дождей, сияние солнца, течение облаков, блеск плывущих звёзд, окутала его точно сетью.

И вот, как и обещал седой старичок, Деву-Ветрица оставила его на серой гранитной глыбе и, завывая, умчалась восвояси. Портняжка положил на голый, выщербленный гранит петушье перо – и в тот же миг глыба с натужным стоном и хрустом выворотилась из земли, поднялась в воздух, точно подхваченная чашей весов или поддетая снизу стержнем, и ухнула рядом, так что поросшая вереском почва всколыхнулась, будто гладь вязкого моря. На месте же глыбы, среди корешков вереска и узловатых корней утёсника, чернело сырое отверстие. Портняжка, недолго думая, полез в него: лезет, лезет, а на уме одно – что над головою-то камни, и торф, и земля. А воздух внутри студёный, волглый, а под ногами слякотно, мокро. Вспомнил он про свой ключик, решительно выставил его перед собой, и тот вспыхнул искристым светом, так что на шаг вперёд разливалось серебристое свечение. Так добрался портняжка до покоя о трёх дверях. В щелях под двумя большими дверями брезжил свет – жёлтый, манящий, третья же дверь сокрыта была мрачной кожаной завесой. Едва портняжка провёл по этой завесе кончиком мягкого курочкина пера, как завеса разъялась, собравшись в прямые складки наподобие нетопырьих крыл, а за нею распахнулась темная дверца, ведущая в узкую нору, куда портняжка мог бы протиснуться разве что по плечи. Тут-

то и напал на него страх: ведь седой приятель про тесный лаз ничего не рассказывал. Может статься, сунет он туда голову – тут ему и конец.

Он огляделся и увидал, что ходов, подобных приведшему его в этот покой, ведёт сюда премножество, и все до единого извилистые, расщелистые, сырые, все в переплетениях корней. «Пойдёшь назад – чего доброго, заплутаешь, – рассудил портняжка. – Видно, придётся лезть в нору, а там будь что будет». Он собрал всю свою храбрость, зажмурил глаза, сунул голову и плечи в нору и ну вертеться-ворочаться. Протиснулся и кубарем ввалился в просторный каменный чертог, озарённый лившимся ниоткуда мягким светом, в котором даже сияние ключика сделалось тускло. Чудо, что в этой кутерьме ключик уцелел: стекло осталось таким же ясным и невредимым, как и прежде. Портняжка обвёл взглядом чертог и увидал три предмета. Первый оказался грудой склянок и пузырьков – все в пыли, в паутине. Второй – стеклянный купол в рост человека, повыше нашего героя. Третий же был светящийся стеклянный гроб на золочёном ложе, укрытом богатым бархатным покровом. И все они – и груды, и купол, и гроб – источали матовое свечение, точно доносящееся из глубины мерцание жемчугов или фосфорические огни, что сами собой блуждают по глади южных морей, а близ нашего берега, в Ла-Манше, по ночам окаймляют вздымающиеся отмели и наделяют млечной белизной их серебристые оконечности.

«Эге, – смекнул портняжка, – что-то из этих трёх, а то и все три, и есть моё приключение». Принялся он перебирать склянки. Были они всяких цветов: красные, зелёные, синие, дымчатые, как топаз, а внутри всего-навсего какие-то испарения или капли жидкости, в той плавают струйка дыма, в этой болтается спиртуозная влага. Каждая склянка была закупорена и запечатана, но осторожный портняжка не стал их распечатывать, положив прежде хорошенько разведать, куда он попал и что ему предстоит совершить.

Затем он приблизился к куполу. Хотите представить, каков был этот купол, – вспомните чудесный стеклянный колпак у вас в гостиной, под которым обыкновенно сидят как живые на ветках яркие птахи или порхают таинственные бабочки и мотыльки. А может быть, вам случалось видеть хрустальный шар с крохотным домишком внутри, над которым, если шар потрясти, заискрится метель. Под куполом же помещался целый замок – величавое, прекрасное здание с несчётными окнами, изгибистыми лестницами и множеством башен, с которых без движения свисают яркие флаги. Вокруг раскинулся красивейший парк: деревья и террасы, дорожки и лужайки, водоёмы с рыбками и беседки, увитые розами, на одном дереве качели – всё, чего бы ни пожелала душа обитателя обширного и привольного поместья. И всё как настоящее, только что не шевелится и сработано в такую малую меру, что рассмотреть тонкую резьбу и мелкие предметы можно не иначе как в увеличительное стекло. Портняжка же, как я говорила, был в первую очередь мастер: он глаз не мог оторвать от такой красоты и всё дивился, какой же тонкости должны быть инструменты, что её произвели. Смахнул пыль, полюбовался ещё и подошёл к стеклянному гробу.

Случалось ли вам наблюдать, как резвый ручей, добежав до невысокого уступа, перекачивается через него стеклянной гладью, под которой протягиваются слегка колеблемые приметной всё же быстринной длинные пряди тонких водорослей? Вот и здесь, под гладью толстого стекла, заполняя собою всю внутренность гроба, беспорядочными волнами лежали длинные

золотые пряди – портняжке было показалось, что он набрёл на целый сундук золотой пряжи. Но тут он разглядел в бахромчатой прогалине прекраснейшее лицо, какое ни во сне ни наяву не привидится, – неподвижное бледное лицо с длинными золотыми ресницами на бледных щеках и дивными бледными губками. Девушка была укутана золотыми волосами, точно мантией, упавшие на лицо спутанные локоны чуть шевелились от дыхания, и портняжка догадался, что девушка жива. И ещё догадался он, что тут-то и начинается его приключение: он, как водится, освободит спящую, а она в благодарность за это станет его невестой. Но девушка во сне была так хороша, так безмятежна, что портняжке прямо духу не хватало тревожить её покой. И он стоял и гадал, как она здесь очутилась, да сколько уже времени тут провела, да какой у неё голос, – словом, размышлял про всякий вздор, а дыхание спящей всё взбивало и взбивало золотую пряжу её волос, упавшую на лицо.

Наконец портняжка углядел на боковине гроба – а был он цельный, точно яйцо из зелёного льда: ни щёлки, ни трещинки, – крохотную замочную скважину. И понял портняжка, что это и есть замок, который отмыкается его чудесным изящным ключиком. С тихим вздохом вставил он ключ в скважину и стал ждать. А ключик скользнул внутрь и будто вплавился в стенку гроба, так что на миг её стеклянная поверхность стала гладкой, без малейшего отверстия. Вслед за тем раздался странный звук вроде звона колокольных и гроб рассыпался на ровные осколки, длинные и острые как сосульки, и каждый, звякнув оземь, вмиг исчезал. Открыла девушка глаза, а они у неё как васильки или небо летней порой. Портняжка же смекнул, что надо делать: склонился и поцеловал её дивную щёку.

«Стало быть, это ты? – промолвила девушка. – Это ты долгожданный спаситель, который меня расколдует? Значит, ты и есть принц?»

«Ну нет, – возразил портняжка. – На этот счёт ты заблуждаешься. Я не больше – но и не меньше – чем портной, шью наряды тонкой работы. Брожу по свету да ищу, где бы честным трудом заработать на прожиток».

Девушка так и залилась весёлым смехом – ей, как видно, пришлось промолчать не один год, но голос её уже окреп, и смех гулко прокатился по странному подземелью, даже стеклянный дряг задребезжал, как надтреснутые колокольцы.

«Помоги мне выбраться из этого мрачного логова – и тебя ждут такие богатства, что не будет нужды заботиться о прожитке до конца своих дней, – сказала она. – Видишь там заточённый в стекле прекрасный замок?»

«Ещё бы. Вижу и дивлюсь искусной работе».

«То работа не резчика, не миниатюриста, но злого волшебника. Замок этот прежде был моим домом. Моими были окрестные леса и луга, и мы с милым моим братом гуляли там на просторе. Так мы и жили, пока однажды вечером, спасаясь от непогоды, не забрёл к нам этот самый злой волшебник. Надобно тебе знать, что мы с братом близнецы. Брат был хорош собой, как ясный день, ласков, как оленёнок, ладный, как яблочко наливное. Мне было так отрадно с ним, а ему со мною, что мы дали обет не вступать ни с кем в супружество, а весь век мирно жить в своём замке, дни напролёт проводя в охоте и играх. В тот вечер, когда незнакомец постучался к нам в замок, бушевала буря; шляпа и плащ пришельца промокли до нитки, но на лице его играла улыбка. Брат радушно пригласил его войти, предложил остаться на ночлег, угостил жарким и вином, они вместе пели песни, играли в карты, а

потом сидели у очага и рассуждали обо всём, что только случалось на белом свете. Меня раздосадовало и даже немного опечалило, что брату пришлось по вкусу общество чужого, и я отправилась к себе в почивальню раньше обычного. Я лежала и слушала, как завывает Западный Ветер меж крепостными башнями, пока не охватила меня беспокойная дремота. Проснувшись я оттого, что по комнате звонко разливалась странная, очень красивая музыка. Я привстала посмотреть, что бы это значило, и тут дверь медленно растворилась и в почивальню твёрдой поступью вошёл наш незнакомый гость. Платье на нём уже просохло, чёрные волосы вились кудрями, он улыбался, но лицо его внушало страх. Я хотела пошевелиться, но тело моё было точно спелёнуто, и такие же незримые пелена крепко обвили голову и лицо. Пришелец объявил, что не желает мне зла. Он чернокнижник, и звонкая музыка в почивальне наколдована им. Его намерение – получить мою руку и сердце и жить-поживать в этом замке вместе со мною и моим братом. Я отвечала – ибо мне вновь дана была возможность говорить, – что вовсе не помышляю о замужестве, а хочу остаться в девицах и наслаждаться счастливой жизнью с милым моим братом и больше ни с кем. Тогда чернокнижник сказал, что этому не бывать: волей или неволей, а я буду принадлежать ему, и брат мой держится тех же мыслей. „Увидим“, – отвечала я. „Может, и увидишь, – невозмутимо промолвил колдун под звон, гул и визг музыкальных орудий, – но говорить с ним об этом ты не будешь и про то, что случилось тут, не расскажешь: я наложил на тебя заклятье, и ты будешь молчать, как будто тебе отрезали язык“.

На другой день я порывалась предупредить брата, но обещание колдуна исполнилось: стоило мне попытаться открыть рот, как язык у меня отнимался и я немотствовала, точно кто-то большими стежками, прямо по живому, зашил мне губы. Но если мне за столом хотелось спросить соли либо завести разговор о дурной погоде, я вновь обретала дар речи, так что брат, к великой моей досаде, ничего не заметил и преспокойно отправился с новым приятелем на охоту, оставив меня одну у камина безмолвно терзаться страшными предчувствиями. Так просидела я целый день, а когда приблизился вечер, когда по лужайке у замка протянулись длинные тени и закатные лучи остыли и окрасились медным цветом, я уже знала наверное, что стряслась беда. Выбежав из замка, бросилась я в тёмный лес. Навстречу мне из лесу вышел колдун. Одной рукой он вёл под уздцы коня, а в другой держал поводок, к которому была привязана высокая борзая с такими печальными глазами, какие не примечала я ни у одной твари земной. Колдун рассказал, что брат мой внезапно уехал, пробудет в отлучке очень долго и неизвестно когда вернётся, меня же и замок оставил он на его попечение. Рассказывал он весело, точно ему и дела не было, поверю я или нет. Но я объявила, что не подчинюсь этому самовластью, и с облегчением услышала, что голос мой звучит твёрдо и уверенно: я боялась сделаться снова безгласной, как бы с зашитыми губами. При этих словах из глаз борзой покатались слёзы, с каждым мигом всё обильнее, всё крупнее, и я не знаю как догадалась, что под обличем этого кроткого беззащитного животного сокрыт мой брат. В гневе вскричала я, что против моей воли колдун ни мною, ни домом моим не завладеет. Он на это признался, что я угадала верно: без моей воли он и в самом деле не в силах добиться своего, но если я не прочь, он постарается снискать мою благосклонность. Этому не бывать, отвечала я, пусть и не мечтает. Он разъярился и пригрозил, если я стану противиться, лишит меня дара речи на

веки вечные. Но я отвечала, что без милого брата мне и свет не мил: к чему мне речь, если говорить ни с кем нету охоты. „Посмотрим, что ты скажешь, когда протомишься сотню лет в стеклянном гробу“, – промолвил колдун. Он взмахнул руками, и замок уменьшился и сделался таким, как ты видишь. Тогда он взмахнул руками ещё раз-другой, и замок оделся стеклом – таким, как ты видишь. Сбежавшуюся прислугу – лакеев, горничных – он заточил, как ты видишь, каждого в отдельную склянку и напоследок заключил меня в стеклянный гроб, где ты меня и нашёл. А теперь, если ты желаешь, чтобы я стала твоей, поспешим отсюда прочь: колдун имеет обыкновение навеваться сюда, чтобы проверить, не сделалась ли я уступчивее».

«Конечно, мне хочется, чтобы ты стала моей, – сказал портняжка. – Ты – обещанная мне чудесная награда, это же мой пропавший стеклянный ключик вернул тебе свободу, да я уж и полюбил тебя всей душой. Но что ты лишь за вызволение из стеклянного гроба готова отдать мне руку и сердце – это мне как-то странно. Что ж, когда ты вновь утвердишься в своих правах, когда к тебе вернутся и дом, и земли, и слуги, ты вольна будешь передумать и жить, если пожелаешь, в безбрачии и одиночестве. С меня же довольно и того, что я любовался дивной золотой сетью твоих волос и касался губами этой нежной-пренежной, белой-пребелой щеки».

А вы, любезные мои простодушнейшие читатели, извольте угадать, что подсказало ему эти речи: участливость или хитрость, – он же видел, что девушке больше всего хочется распоряжаться собой без принуждения, а замок со всеми садами, хоть в нынешнем состоянии его и можно было обмерить булавкой или стежками, ногтем или напёрстком, всё же имел такой нарядный и пышный вид, что всякий почёл бы за счастье в нём поселиться.

По бледным щекам красавицы разлился нежный розовый румянец, и она чуть слышно промолвила, что чары есть чары, а поцелуй, данный ей после того, как стеклянный гроб был благополучно уничтожен, как и всякий поцелуй, обязывает к благосклонности, вольно он был получен или невольно.

Пока они таким учтивым образом дискутировали о том, как достойнее поступить в этих казусных обстоятельствах, раздался шум, зазвенела музыка и девушка в великой тревоге воскликнула, что чародей приближается. Герой же наш оробел и растерялся: ведь седой наставник не научил его, что надо делать при подобной оказии. И всё же он сказал себе: «Надо мне, сколько станет сил, защищать эту девушку, которой я столь многим обязан, которую сам же – к добру или к худу – избавил от сна и немоты». Оружия, кроме острых иголок да ножниц, он с собой не носил, но его осенило, что можно пустить в ход осколки стеклянного саркофага. Он выбрал осколок подлиннее и поострее, обернул тупой конец подолом своего кожаного передника и стал ждать.

И вот на пороге вырос закутанный в чёрный плащ, ухмыляющийся свирепой ухмылкой чернокнижник. Задрожал портняжка, взмахнул осколком, а сам так и ждёт, что противник оборонится от него колдовством или заледенит ему руку. Но тот лишь шагнул вперёд и потянулся к девушке. И тут наш герой со всей силы всадил ему в сердце стеклянный осколок. Колдун рухнул наземь и прямо у них на глазах иссох, сморщился и обратился в горстку серой пыли да толчёного стекла.

Девушка всплакнула и молвила, что это уж второй раз, как портняжка её спасает: всё говорит за то, что он достоин её руки. А потом она хлопнула в ладоши, и в тот же миг и она, и портняжка, и всё, что их окружало, – замок,

груда склянок, горсть пыли – поднялось в воздух и перенеслось на холодный склон какого-то холма, где их ожидал тот самый седой старичок со своей борзой Отто.

И, как вы, догадливые мои читатели, должно быть, поняли, Отто и был той борзой, в которую превратился брат заточённой в гробу красавицы. Девушка припала к серой шерстистой шее и залилась ясными слезами. И когда они смешались с горячими слезами, брызнувшими из глаз пса, чары спали, и перед девушкой стоял златокудрый юноша в охотничьем платье. Обнялись они от полноты сердца и долго-долго друг друга не отпускали.

А меж тем портняжка с помощью седого старичка провёл по стеклянному футляру, заключающему в себе замок, петушьим и куриным пёрышками, что-то загудело, загрохотало, и замок сделался таким же огромным, как и прежде: величавые лестницы, несчётные двери – всё на месте. Вслед за тем портняжка с седым старичком принялись откупоривать пузырьки и склянки, дым и влага исходили из них лёгким вздохом и принимали человеческий облик: лесник и дворецкий, кухарка и горничная; велико было их изумление, когда они обнаруживали, где очутились.

Девушка рассказала брату, что портняжка пробудил её от сна, сразил чернокнижника и добился её руки. Юноша же поведал про портняжино ласковое с ним обращение и предложил, чтобы он поселился в замке и жил вместе с ними, не зная забот. И портняжка зажил с ними в замке, не зная забот. Юноша с сестрой ездили в дремучий лес на охоту, а портняжка, у которого душа не лежала к таким забавам, оставался дома у камина, вечера же они славно проводили вместе.

Одного лишь портняжке не доставало. Без работы мастер не мастер. И он велел принести тончайшие шёлковые ткани и яркие нитки и для души занялся делом, которым прежде занимался из нужды.

## Глава 5

*Как пахарь, что, взрыхляя хряц иссохший  
(А мозг томят пронзительные вздохи  
Голодного желудка), замечает,  
Как недра пашины исторгают беса:  
Глаза златые, на висках бугры, —  
И тот, раскрыв пасть бурую, сулит  
Из благ мирских лишь золота горшок —  
Купить горшок фасоли (вот предел  
Мечаний пахаря!) — так и она  
У своего подола слышит шорох  
Мохнатых ножек древнего божка,  
Что оставляет след на тёплом пепле,  
Что прыщет со смеху и в колыбели,  
Твердя: «Укачивай меня, голубь, —  
И обретёшь заветный клад: божски  
Отдаривают всякое даренье». —  
Что нам бояться этих бесенят?*

*Р. Г. Падуб,  
из поэмы «Заточённая волшебница»*

Линкольнширское холмогорье – местность малопримечательная. Здесь, в одной из тесных извилистых долин, вырос Теннисон. Именно здесь раскинулись нивы, которыми его фантазия окружила бессмертный Камелот:

Простёршись вдоль по берегам,  
Тучнеют нивы тут и там,  
Одевши дол, льнут к небесам.<sup>33</sup>

Роланд сразу же убедился, что «льнут» – не надуманный, а смелый и точный образ. Дорога, по которой шёл их «фольксваген», пересекала долину и поднималась к перевалу. Долины, глубокие и узкие, выглядят тут по-разному: одни заросли лесом, в других зеленеют луга, третьи распаханы. По горизонту вычерчиваются неизменно голые хребты. В остальном же это обширное, вечно дремотное графство – местность равнинная: болота, пахотные угодья. При виде этих сомкнутых холмов кажется, что земля здесь собрана в складки, но на самом деле холмы – рассечённое на части плоскогорье. Деревни забились в самые глухие уголки долин. Зелёный автомобиль бойко катил по гребню – по дороге, от которой, как ветви от ствола, расходились другие дороги и тропы. Роланд, горожанин от рождения, видел вокруг прежде всего цвета: тёмные пашни с меловыми прожилками в бороздах, оловянное небо с облаками словно из мела. Мод же подмечала накатанные дороги, поломанные ворота, изувеченные челюстями техники живые изгороди.

– Вон там, слева внизу, – вдруг сказала она. – Вон Сил-Корт. В лощине.

Внизу, в изрытом провалами море листвы, мелькнули зубцы стен, круглые башенки, после поворота – что-то вроде донжона.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Начало поэмы А. Теннисона «Владычица Шалотта».

<sup>34</sup> Донжон (фр. donjon) – главная, отдельно стоящая башня в средневековом замке, находившаяся в самом отдалённом

– Это, конечно, частные владения. Но мы можем спуститься в деревню. Там Кристабель и похоронили. На кладбище Святой Этельдреды. Называется деревня Круасан. Деревня, можно сказать, заброшенная – почти заброшенная. Тут внизу полным-полно заброшенных деревень, от некоторых только и осталось что какая-нибудь ферма или церковь. В круасанской церкви службу, кажется, больше не служат. Кристабель думала, что название Круасан происходит от французских слов *croiance*, то есть «вера», и *saint* – «святая», но это, как часто бывало в девятнадцатом веке, просто этимологический домысел. Считается, что на самом деле «Круасан» – от французского *croissant*, «полумесяц»: тут долина вместе с рекой образует излучину. А святую Этельдреду Кристабель любила. Этельдреда – несмотря на два замужества, королева-девственница – стала аббатисой Или,<sup>35</sup> основала великую обитель. Когда она умерла, тело её источало благоухание.

Но Роланду было не до святой Этельдреды. Мод в это утро снова казалась чужой, надменной.

Автомобиль извилистой дорогой спустился в долину и повернул к обнесённому стеной кладбищу, посредине которого высилась церковь – массивное здание, увенчанное квадратной башней. У ворот стояла легковушка с кузовом. Мод поставила свою машину рядом, и они с Роландом прошли на маленькое кладбище. Земля тут была влажная. Тропинка терялась в жухлой сырой траве и почерневших листьях бука, росшего у ворот. По сторонам тяжеловесной каменной паперти, в густой тени, стояли два больших тисовых дерева. Мод, такая внушительная в этом тёплом плаще мужского покроя и высоких сапогах – голова её, как и вчера, была повязана, – подошла, широко ступая, к кованым воротам на паперти, закрытым на задвижку с висячим замком. Из жёлоба на карнизе сбегала вода с какой-то ярко-зелёной примесью, оставляя на камнях паперти волнистую дорожку.

– Все Бейли похоронены в церкви, – сказала Мод. – А Кристабель, по её желанию, в стороне. Где дождь и ветер. Вон её могила.

Пробираясь через бугры и кочки, они двинулись к могиле. Шли по кроличьим тропкам, проложенным между мертвыми. Могила Кристабель окружала увитая плющом каменная ограда пониже человеческого роста. Надгробный камень слегка покосился. Он был вытесан не из мрамора, а из местного известняка и заметно выщербился от солнца и дождей. Надпись – правда, немалое время тому назад – подновляли.

*Здесь покоятся бранные останки  
Кристабель Маделин Ла Мотт,  
старшей дочери Исидора Ла Мотта,  
историка,  
и его нежно любимой супруги  
Арабеллы Ла Мотт,  
единственной сестры Софии, леди Бейли,  
супруги сэра Джорджа Бейли из Сил-Корта,  
что в Круасане.  
Родилась 3 января 1825 года.  
Погребена 8 мая 1890 года.*

*От земных невзгод  
Пусть найду приют  
Близ холма, где веет ветер,*

месте и служившая последним убежищем при нападении врага.

<sup>35</sup> Монастырь в г. Или (графство Кембриджшир) был основан Этельдредой (Эдильтрудой), дочерью Анны, короля Восточной Англии, в VII в.



*Облака плывут,  
Где насытыми устами  
Травы жадно пьют  
Тучную росу, дождь, ушедший в землю,  
И снега, что, воле свыше внемля,  
Образ влаги снова обретут.*

Каменный бордюр вокруг могильного холмика растрескался, из щелей торчали ползучие побеги пырея и колючей куманики. Траву на могиле подстригали, правда времени с тех пор прошло опять-таки немало. На могиле лежали останки большого, можно сказать, пышного букета; его проволоочный, как у свадебных букетов, остов ржавел среди лохматых хризантем, гвоздик и иссохших до прожилок листьев давно увядших роз. Этот ворох перехватывала лента из зелёного атласа, вся в земле и потёках, а к ней была привязана карточка с едва различимым отпечатанным текстом:

Кристабель —  
от женщин Таллахасси,  
твоих истинных почитательниц,  
хранящих о тебе неувядаемую память  
и продолжающих твоё дело.  
«Цел и поныне каменный мой труд»  
Мелюзина, XII, 325

— Здесь побывала Леонора, — сказала Мод. — Летом. Когда сэр Джордж набросился на неё с ружьём.

— Это, наверно, она тут боролась с травой, — предположил Роланд, ежась от сырости. Сердце у него защемило.

— Видела бы она, как запустили кладбище, — заметила Мод. — То-то ужаснулась бы. Она в таком запустении ничего романтического не находит. А по-моему, так и должно быть. Медленный возврат к природному состоянию и небытию.

— Это стихи Кристабель?

— Да, она писала и такие вот неприятные вещи. Видите — без подписи. На надгробии род занятий её отца упомянут, а про неё — ни слова.

На миг Роланду стало стыдно за людскую несправедливость.

— Запоминающиеся стихи, — сказал он робко. — Немного зловещие.

— Как будто эти насытые уста трав поглощают саму Кристабель.

— Так, наверно, и в самом деле произошло.

Они посмотрели на траву. Увядшая трава полегла, слипшись от сырости.

— Давайте поднимемся на холм, — сказала Мод. — Посмотрим на Сил-Корт хоть издали. Путь, которым, должно быть, часто ходила сама Кристабель: она была исправной прихожанкой.

За церковью вверх по склону, к безукоризненно чёткому горизонту взбегало распаханное поле. На фоне серого неба виднелась фигура, которую Роланд сперва принял за скульптуру работы Генри Мура — увенчанного короной монарха на престоле. Но фигура склонила голову и, опустив руки, принялась что-то изо всех сил толкать. Тут Роланд уловил серебристый посверк и сообразил, что фигура наверху — человек в инвалидном кресле, причём этот человек, как видно, оказался в затруднительном положении.

— Смотрите, — сказал он Мод.

Мод взглянула на вершину.

— Там, похоже, что-то стряслось.

– Должен же кто-то ещё там быть, иначе как этот человек туда забрался? – рассудительно заметила Мод.

– Наверно, – согласился Роланд и всё-таки полез по склону.

Грязь облепляла городские ботинки, ветер ерошил волосы. На здоровье Роланд не жаловался, несмотря на угарный газ и свинец в лондонском воздухе: езда на велосипеде пошла на пользу.

В кресле сидела женщина в егерской тирольской куртке с пелериной. Шея её была повязана пёстрым шёлковым шарфом, поля зелёной фетровой шляпы с глубокой тульей закрывали лицо. Кресло сбилося с колеи, накатанной на вершине холма, и стояло на самом краю, готовое каждую минуту скатиться по крутому каменистому косогору. Вцепившись руками в кожаных перчатках в большие колёса, женщина отчаянно пыталась сдвинуть коляску с места. Ноги в начищенных ботинках из чудесной мягкой кожи неподвижно покоились на подножке. Роланд увидел, что сзади колесо упирается в торчащий из грязи здоровый камень, так что ни повернуть коляску, ни выбраться на дорогу задним ходом нет никакой возможности.

– Вам помочь?

– О-ох! – протяжно, с усилием вздохнула женщина. – Ох, спасибо. К-кажется, я и правда крепко з-застряла.

Голос у женщины был прерывистый, старческий, аристократический.

– П-прямо б-беда. С-самой никак не с-с-с-правиться. Уж будьте добры...

– Тут камень. Под колесом. Подождите, я сейчас.

Роланду пришлось опуститься на колени прямо в грязь, безнадёжно перепачканные брюки напомнили о переживаниях на спортивной площадке. Он ухватился за кресло, дёрнул, едва удержал равновесие.

– Не опрокинется? Я вас, кажется, очень наклонил.

– Это особо устойчивая конструкция. Я на т-тормоз поставила.

До Роланда постепенно дошло, что положение куда серьёзнее, чем ему казалось. Одно неосторожное движение – и кресло бы перевернулось. Он начал копать в грязи голыми руками. Потом пустил в ход какой-то не слишком надёжный сучок. Потом, подобрав другой камень, стал орудовать им как нехитрым рычагом и наконец вывернул злосчастную помеху, сев при этом в грязь и замарав брюки ещё и сзади.

– Вот и всё, – выговорил он. – Как у зубного врача. Дёрг – и готово.

– Как же я вам благодарна!

– Не повезло вам. Вы, должно быть, проехали по этому камню, а потом он перевернулся вот так, выступом сверху, ну и заклинило.

Тут он заметил, что женщину в кресле бьёт дрожь.

– Вот что, – сказал он, – давайте выберемся на дорогу. Жаль вот руки у меня грязные.

Роланд приподнял передок коляски, развернул её и выкатил на торную дорогу. Он совсем выбился из сил. С колёс капала грязь. Женщина подняла голову и посмотрела ему в глаза. У неё было большое круглое лицо в бурых старческих пятнах вроде монеток, подбородок обвис дряблыми складками. В глазах – громадных, бледно-карих – стояли слёзы. По вискам из-под гладко зачёсанных назад седых волос катились крупные капли пота.

– Спасибо, – произнесла она. – Угораздило же меня. Чуть не перевернулась. Муж скажет: «Как ш-шалая». Н-не надо было мне с-сезжать с ровного места. Как же это тяжело, когда без посторонней помощи ни шагу.

– Конечно, – согласился Роланд. – Действительно, тяжело. Но вообще-то, вы напрасно боялись. Кто-нибудь всё равно пришёл бы на помощь.

– Вот вы и пришли. Вы тут гуляете?

– Да вот вышел пройтись со знакомой. Я нездешний.

Куда это подевалась Мод?

– Воздух тут замечательный, – продолжал Роланд. – Всё вокруг так хорошо просматривается.

– Потому-то я сюда и взбираюсь. Ко мне приставлена собака, но она вечно убегает. А мужу всё бы по лесу рыскать. И куда же вы направляетесь?

– Сам не знаю. Это надо спросить у моей знакомой. Я пройдусь немного с вами?

– Мне что-то не по себе. Р-руки трясутся. Будьте добры, проводите меня туда, вниз... в долину... Муж...

– Да-да, разумеется.

Подошла Мод. Плащ и сапоги её, казалось, сверкали чистотой.

– Вытащили мы кресло, – сообщил ей Роланд. – Камень мешался. Я хочу проводить эту леди вниз... Там её муж... Она перенервничала...

– Конечно, – сказал Мод.

Втроем они двинулись вниз. Роланд катил кресло перед собой. В гуще деревьев, обступивших холм, снова забелели крепостные стены, донжон – теперь у Роланда было время разглядеть их получше.

– Сил-Корт, – сказал он Мод.

– Да.

– Романтическое местечко, – заметил Роланд.

– Тёмное и сырое, – отозвалась женщина в кресле.

– Строительство, наверно, обошлось недёшево, – предположила Мод.

– Содержание тоже обходится недёшево, – сказала женщина в кресле. Сложенные на коленях руки в перчатках ещё подрагивали, но голос звучал увереннее.

– Я думаю, – подхватил Роланд.

– Старинными домами интересуетесь?

– Не то чтобы очень, – сказал Роланд. – Но этот мы бы с удовольствием осмотрели.

– Почему?

Сапог Мод пнул Роланда в щиколотку. Роланд чуть не вскрикнул от боли.

Из леса выбежал перепачканный с ног до головы лабрадор.

– А, Мач, вот ты где! – окликнула его женщина. – Негодная ты псина, негодная. Где хозяин-то? Барсуков высматривает?

Пёс улёгся русым брюхом в грязь и завилял хвостом.

– Как вас зовут? – спросила женщина в кресле.

Мод поспешно ответила:

– Это доктор Митчелл. Из Лондонского университета. А я преподаю в Линкольнском университете. Моя фамилия Бейли. Мод Бейли.

– Я тоже Бейли. Джоан Бейли. Живу в Сил-Корте. Мы с вами, случайно, не родственницы?

– Я из норфолкских Бейли. Наши предки действительно состояли в родстве. Отдалённом. Отношения у наших семей были натянутые...

Ответы Мод звучали холодно, сдержанно.

– Как интересно. А вот и Джордж. Джордж, голубчик, у меня целое приключение, меня спас рыцарь. Я застряла на Орлиной вершине: камень угодил под колесо и ни туда ни сюда, разве что под откос. Обидно – хоть плачь. А тут мистер Митчелл и эта девушка. Её фамилия Бейли.

– Говорил я тебе, не сворачивай.

Сэр Джордж – маленький, ершистый – был одет в коричневую охотничью куртку со множеством карманов, коричневую же твидовую кепку, бриджи, на ногах – кожаные сапоги на шнуровке. Ружья при нём не было. Плечи куртки промокли, выпуклые голенища, вроде наголенников рыцарских доспехов, тоже блестели от сырости, капли воды дрожали на шерстистых,

в рубчик краях носков, видневшихся из-за голенищ. Речь его напоминала отрывистый лай. При виде его в душе Роланда шевельнулась глухая сословная неприязнь: на всём облике сэра Джорджа лежал отпечаток его касты, доведённый до карикатурности. В понятии Роланда и Вэл, такие люди, хоть и не перевелись окончательно, были всё же какими-то ненастоящими. Мод тоже увидела в сэре Джордже нечто знакомое, но для неё он воплощал всяческие запреты и скуку, которыми в детстве сопровождалась бесчисленные воскресные вылазки за город, с их пешими прогулками, охотой и разговорами об охоте. Вылазки, от которых она всегда старалась отговориться или увильнуть.

Сэр Джордж оглядел жену:

– Тебе всё неймётся. Я тебя наверх вкатил, ну и ехала бы себе по дорожке. Так нет! Напугалась, ушиблась?

– Никак в себя не приду. Хорошо, мистер Митчелл подоспел.

– А если бы не подоспел? – Сэр Джордж, протянув руку, двинулся к Роланду. – Спасибо огромное. Моя фамилия Бейли. Я отпускаю Джоан с этим придурочным псом, да разве его удержишь? Вечно сбежит и давай шнырять по кустам. Вы, поди, меня осуждаете, что я бросил её одну, а?

Роланд сказал, что не осуждает, едва коснулся протянутой руки и отступил.

– Да, напрасно я так, напрасно. Такой вот я старый эгоист. Слышишь, Джоани, барсуки-то в лесу есть. Но про них лучше помалкивать, а то нахлынут всякие незваные гости, экологи всякие, перепугают бедных зверюг до потери сознания. Кстати, могу обрадовать: японский можжевельник разрастается. Прижился.

Он направился к Мод:

– День добрый. Моя фамилия Бейли.

– Она знает, – напомнила жена. – Она тоже Бейли, я же тебе сказала. Из норфолкских Бейли.

– Да ну? В наших краях их редко увидишь. Скажем так: реже, чем барсуков. Какими судьбами?

– Я работаю в Линкольне.

– Ах вот как?

Кем работает Мод, он не полюбопытствовал. Окинув жену пристальным взглядом, он произнёс:

– А вид у тебя, Джоан, неважный. Цвет лица не очень. Поехали-ка домой.

– Я хочу пригласить мистера Митчелла и мисс Бейли на ч-чашку ч-чая, если они не против. Мистеру Митчеллу надо помыться. Их интересуется Сил-Корт.

– Ничего интересного в Сил-Корте нету, – сказал сэр Джордж. – Это, знаете, не место для экскурсий. Дом страшно запущен. Тут не без моей вины. Средств не хватает. Всё того и гляди обрушится.

– Ничего, они молодые, не испугаются. – На крупном лице леди Бейли отразилась решимость. – Я хочу их пригласить. Из вежливости.

Мод вспыхнула. Роланд догадался, что происходит в её душе. Ей хотелось гордо отмести всякое подозрение в том, что она мечтает побывать в Сил-Корте, – и ей хотелось там побывать: из-за Кристabelle, из-за того, что Леонору Стерн туда не пустили. Скрыть, почему её туда так тянет, кажется ей непорядочным, решил Роланд.

– Я, в самом деле, заскочил бы на минутку в ванную, – сказал он. – Если мы вас не очень потревожим.

\* \* \*

Расхлябанная дорожка, усыпанная гравием, сквозь который пробивалась трава, обогнула громадное здание и привела леди Бейли и её спутников к конюшенному двору. Роланд помог сэру Джорджу вкатить кресло вместе с сидящей в нём леди Бейли в дом. Короткий день угасал. Дверь заднего входа, над готическим порталом которого вилась по стене уже растерявшая листья роза, тяжело распахнулась. Выше тянулся ряд окон, обрамлённых каменной резьбой готических наличников, – окон тёмных, незрячих. Когда-то к двери вели ступеньки, но из-за инвалидного кресла их снесли, и дверь теперь располагалась на уровне земли. Тёмными каменными коридорами, мимо дверей кладовок и лестничных маршей хозяева и гости прошли в комнату, оборудованную и обставленную с мало-мальским комфортом, – прежде, как выяснилось, это была столовая для прислуги.

В сумрачной комнате был камин, где на подстилке из белого пепла дотлевало несколько здоровых поленьев. По сторонам камина стояли два пухлых тяжёлых кресла с изогнутыми спинками и бархатной обивкой тёмно-графитного цвета в тёмно-фиолетовых растительных узорах: какие-то сказочные выюнки в духе модерна. Виноловое покрытие пола – крупные красные и белые квадраты – так утопталось, что обозначились щели между каменными плитками под ним. У окна – массивный стол на толстых ножках, край его укрыт клеёнкой с рисунком наподобие шотландки. В другом конце комнаты, возле двери, как потом оказалось, в кухню и прочие хозяйственные помещения, виднелся небольшой электрокамин. Имелись в комнате и другие кресла с поистершейся обивкой, а ещё растения в глазурованных горшках, нарядные, с чистейшим глянцем. Сэр Джордж включил стоявший возле камина торшер стандартного образца, при виде которого Мод нахмурилась. Правда, стол украшала лампа поблагодарнее, сделанная из китайской вазы. На беленых стенах были развешаны акварели, картины маслом, раскрашенные фотографии, глянцевые гравюры в рамках: лошади, собаки, барсуки. У камина стояла просторная корзинка, выстланная жестким матросским одеялом с прилипшими клочьями волос, – как видно, постель Мача. Вообще мебель была расставлена так, что там и сям получались большие прогалы. Отдёрнув гардины, сэр Джордж знаком пригласил Роланда и Мод располагаться в бархатных креслах у очага, а сам повёз куда-то жену. Вызваться помочь ему Роланд не отважился. А он-то думал, их встретит дворецкий, или камердинер, или хотя бы горничная, компаньонка, проводит в гостиную, всю в серебре и шёлковых коврах... Мод, уже смирившаяся с никудышним отоплением и ветхостью обстановки, всё ещё немного досадовала на нотку неуютта в виде невзрачного торшера. Она опустила руку и подозвала Мача. Пёс, грязный, дрожащий, подошёл к ней и прижался к её ногам, стараясь держаться поближе к остывающему очагу.

Вернувшийся сэр Джордж снова развёл огонь. Застонали, зашипели новые поленья.

– Джоан заваривает чай. Не взыщите: тут у нас ни особых удобств, ни особой роскоши. Живём мы, конечно, только внизу. В кухне я всё переделал, чтобы Джоан было легче хозяйничать. Двери, порожки со скатом. Всякие приспособления. Всё, что только можно. Этого, понятно, мало. Дом строился в расчёте на целую ораву слуг. А теперь такая пустота, что от нас, двух стариков, эхо по всему дому. Но за лесом я присматриваю. А Джоан – за садом. Там, представьте, сохранился ещё викторианский бассейн для водяных растений. У Джоан к нему слабость.

– Про бассейн я читала, – осторожно вставила Мод.

– Читали? Интересуетесь, значит, как родня жила?

– Не особенно. Но кое-кем из родственников интересуюсь.

– А кем вам приходится Томми Бейли? Знатный жеребчик у него был, Ганс Христиан, – лихой, горячий.

– Томми Бейли был моим двоюродным дедом. А на одном из потомков Ганса Христиана я в своё время ездила. Только ему было далеко до своего предка: бестолковая скотина, прыгуч, как кошка, но вечно то заартачится, то прыгнет, но без меня. Его звали Копенгаген.

Они побеседовали о лошадях, мельком коснулись норфолкских Бейли. Роланд подметил, что в речи Мод непроизвольно проскальзывают восклицания, от которых на факультете исследования женской культуры она бы наверняка воздержалась.

Из кухни донёсся звон колокольчика.

– Чай готов. Пойду принесу. И Джоан прихвачу.

Появился восхитительный чайный сервиз тонкого фарфора, серебряная сахарница, блюдо гренок с маслом, анчоусным паштетом и мёдом. Всё это было подано на широком пластиковом подносе, изготовленном, как заметил Роланд, с таким расчётом, чтобы вставляться в пазы на подлокотниках инвалидного кресла. Разливала чай леди Бейли. Сэр Джордж расспрашивал Мод о покойных родственниках, о давным-давно околевших лошадях, о состоянии леса в норфолкском поместье, а леди Бейли рассказывала Роланду:

– Лес тут насадил ещё прапрадед Джорджа. И чтобы древесина в хозяйстве была, и потому что любил деревья. Породы сажал всякие, какие примутся. Чем необычнее порода, тем увлекательнее разводить. Джордж за лесом ухаживает. Оберегает. Это вам не какие-нибудь быстрорастущие ёлочки: настоящий смешанный лес. Среди редких деревьев попадаются прямо вековые. А то лесов в наших краях всё меньше и меньше. И живых изгородей тоже. Сколько акров леса свели под пашни! Джордж из леса не вылезает, всё о деревьях хлопочет. Прямо как леший. Надо же, чтобы у кого-то сохранялось чувство истории.

– А вам известно, – сказал сэр Джордж, – что в восемнадцатом веке главным занятием в здешней округе было разведение кроликов? Земли тут песчанистые, сплошь заросли утёсником – на что они ещё годны? А у кроликов этих были такие славные серебристые шкурки. Их отправляли в Лондон, в северные графства – на шапки. Зимой держали кроликов в садках, а как лето – выпускали на прокорм в поля. Соседи ворчали, но кролики плодились себе и плодились. Кое-где даже соперничали с овцами. А потом, как и многое другое, сгнули. Овцеводство усовершенствовалось, стало дешевле, земледелие тоже, кролики и повывелись. Вот и с лесом скоро так будет.

Роланд не смог придумать никакого дельного замечания по поводу кроликов, зато Мод привела статистические данные о численности садков в Норфолке и описала старую башню кролиководы в поместье норфолкских Бейли.

Сэр Джордж налил ещё чаю. Леди Бейли любопытствовала:

– Мистер Митчелл, а чем вы у себя в Лондоне занимаетесь?

– Я исследователь при университете. Немного преподаю. Работаю над Собранием сочинений Рандольфа Генри Падуба.

– У него есть славное стихотворение, мы ещё в школе проходили, – вспомнил сэр Джордж. – Вообще-то, к стихам у меня душа не лежит, но это мне понравилось. «Охотник» называется. Там про каменный век, про одного молодца: как он ставит силки, точит кремнёвые наконечники, разговаривает со своей собакой, принимает, какая будет погода. Очень там хорошо показано, что такое опасность. Однако ничего себе работёнка – всю жизнь возиться с чужими виршами. Тут, в этом доме, тоже как-то жила одна поэтесса. Вы, поди, такую и не знаете. Писала жутко сентиментальную дребедень про Бога, про смерть, про фей да росу...

– Кристабель Ла Мотт, – подсказала Мод.

– Она самая. С причудами была дамочка. К нам в последнее время зачастили всякие, выпрашивают, не сохранилось ли чего из её писаний. Но я им от ворот поворот. У нас с Джоан своя жизнь. А летом откуда ни возьмись заявляется страшно пронырливая американка и давай распинаться, какая это для нас честь – хранить реликвии, оставленные старой сумасбродкой. Сама вся накрашенная, вся в побрякушках, глаза бы не глядели. Человеческого языка она не

понимала, пришлось шугануть ружьём. Ей, видите ли, приспичило посидеть в «зимнем уголке» Джоан. Почтить память Кристабель. Дичь! Поэт называется. Вот Рандольф Генри Падуб ваш – действительно поэт. Таким родственником я бы гордился. Лорд Теннисон – тот тоже, бывало, патоку разводил, но вещицы на линкольнширском диалекте у него недурны. Хотя до Мейбл Пикок\* ему далеко. Вот у кого был слух на линкольнширскую речь! История про ежа просто чудо. «Еж-недоволен». «А еж-от знай ершится да гомозится, фыркает да швыркает...» Нынче это уже история, нынче такие слова забываются. Кто их теперь знает? У всех только и свету в окошке что «Даллас», да «Династия», да битловский трень-брень.

– Мистер Митчелл и мисс Бейли скажут: «Вот старый брюзга-то». Им хорошая поэзия нравится.

– Да не нравится им эта Кристабель Ла Мотт!

– Мне-то как раз нравится, – сказала Мод. – Она, между прочим, писала и про «зимний уголок» в Сил-Корте. В одном письме. Читаешь – и всё перед глазами: неувядающая зелень, красные ягоды, кусты кизила, укромная скамья, серебристые рыбы в маленьком водоёме... Она видела их даже сквозь лёд...

– У нас был старый кот, и он этих рыб перетаскал...

– Мы завели новых...

– Мне очень хочется взглянуть на «зимний уголок». Я сейчас пишу про Кристабель Ла Мотт.

– А, биографию, – кивнула леди Бейли. – Как интересно.

– Не понимаю, о чём можно написать в её биографии, – сказал сэр Джордж. – Чего она такого особенного совершила? Жила тут в восточном крыле да кропала свои стишата про фей. Тоже мне *жизнь*!

– Это, собственно говоря, не биография. Это литературоведческое исследование. Но сама она меня, конечно, интересует. Мы ходили на её могилу...

Про могилу говорить не стоило. Сэр Джордж помрачнел. Песчаные брови клином сомкнулись над увесистым носом.

– Эта скверная бабёнка, которая здесь ошивалась, посмела сделать мне выговор – отчитать за то, что могила так плохо содержится. Ужас, говорит, во что она превратилась. Мол, памятник культуры, национальное достояние. «Вашей, что ли, культуры, вашей нации? – говорю. – Нечего соваться, куда не просят». А она спрашивает ножницы – траву на могиле подстричь. Тут-то я и схватил ружьё. Она – в Линкольн, купила ножницы, а на другой день пришла к могиле, опустилась на колени и привела всё в божеский вид. Викарий тоже видал эту дамочку. Он там в церкви раз в месяц служит вечерню. Глядь – сидит на задней скамье, слушает. Такой букетище приволокла. Тьфу, телячьи нежности.

– Мы видели...

– Не надо так кричать на мисс Бейли, Джордж, – сказала жена. – Она ни при чём. Что тут такого, если она интересуется Кристабель? Знаешь, показал бы ты молодым людям её комнату. Если им захочется взглянуть. Она, мистер Митчелл, под замком, её бог знает сколько не отпирали. Даже не представляю, что сейчас там творится, но кое-что из вещей Кристабель, по-моему, всё ещё там. Со времен Первой мировой семья занимала всё меньше и меньше комнат, и восточное крыло, где комната Кристабель, закрыто с восемнадцатого года – сваливали туда всякий хлам. Мы из-за моей инвалидности, понятно, живём только внизу, ютимся на пяточке. Всё хлопочем насчёт капитального ремонта. Крыша, правда, прочная, за полами плотник досматривает. Так вот, в той комнате, сколько я помню, ничего не трогали с двадцать девятого года, когда я приехала сюда невестой. Мы тогда занимали всю среднюю часть здания. Восточное крыло – нет, туда тоже иногда заглядывали, но в основном оно пустовало.

– Там ничего толком не разглядишь, – предупредил сэр Джордж. – Надо будет взять фонарь. В том крыле электричества нету. Только внизу, в коридорах.

По спине у Роланда пробежал странный холодок. Он посмотрел в резное окно, туда, где чернели в сумерках влажные хвойные лапы. Где на гравии дорожки лежал тусклый свет.

– Да, это было бы просто замечательно...

– Мы бы вам были так благодарны...

– Ну что же, – решил сэра Джордж, – почему бы и не показать? Как-никак родственники. Он взял мощный фонарь-«молнию» современного устройства и повернулся к жене:

– Ты уж нас дождись. Если найдём какие сокровища – принесём.

Они шли, шли – сперва по кафельным коридорам, залитым блёклым электрическим светом, потом – по обветшалым комнатам, устланным пыльными коврами, потом поднимались по каменной лестнице, потом – по деревянной, винтовой, сквозь тёмное море пыли. За весь путь Мод и Роланд не обменялись ни словом, ни взглядом. Остановились перед маленькой дверью с тяжёлой деревянной обшивкой и тяжёлой задвижкой. Сэр Джордж с фонарём прошёл в комнату первым, за ним Роланд и Мод. Большой конус света обежал тесное круглое помещение, выхватывая из темноты то полукруглую нишу с окном, то резьбу потолка – узловатые нервюры<sup>36</sup> и ложноготические узоры в виде листьев плюща, ворсистые от пыли. Свет скользнул по кровати в алькове, где всё ещё висел полог, тускло рдеющий из-под налёта пыли, по чёрному бюро с замысловатой резьбой: бусы и завитки, виноградные грозди, плоды граната, лилии. Вот непонятное сиденье: не то низкий стул, не то скамейка, на которой преклоняют колени при молитве, вот груда белья, старый сундук, пара шляпных картонок – и вдруг! – пристальные белые личики на подушке. Рядком: одно, другое, третье... У Роланда от неожиданности перехватило дыхание. Мод выговорила:

– Ой, куклы...

Сэр Джордж, уже освещавший зеркало в раме из резных позолоченных роз, перевёл луч фонаря обратно и направил в упор на три неподвижные фигурки, полулежащие под пыльным покрывалом на кровати с пологом на четырёх столбиках – игрушечной, но не такой уж маленькой.

У кукол были фарфоровые личики и лайковые ручонки. У одной волосы были золотые, шелковистые, но пожухлые и посеревшие от пыли. У другой на голове убор вроде плоёного ночного чепца из белого канифаса<sup>37</sup> с кружевной каймой. У третьей волосы чёрные, собранные на затылке в круглый пучок. Три пары синих стеклянных глазёнок блестели, даже запорошённые пылью.

– Она написала цикл стихов о куклах, – произнесла Мод каким-то тревожно-благоговейным шёпотом. – Как «Сказки для простодушных»: вроде бы для детей, но на самом деле нет.

Роланд перевёл взгляд на черневшее в сумраке бюро. У него не было такого ощущения, будто в комнате витает дух покойной поэтессы, но в душе брезжило волнующее чувство, что любой из этих предметов – бюро, сундук, шляпные картонки – может таить в себе сокровища вроде выцветших писем у него во внутреннем кармане. Какой-нибудь ключ к разгадке, наспех набросанную записку, два-три слова в ответ на письмо. Вздор, конечно: их надо искать не здесь, они там, где оставил их Рандольф Генри Падуб, – если они вообще были написаны.

– Вы не знаете, были здесь какие-нибудь бумаги? – повернулся Роланд к сэру Джорджу. – Там в бюро ничего не осталось? Что-нибудь её рукой?

– После её смерти всё, кажется, выгребли.

– Можно хотя бы взглянуть? – попросил Роланд, уже воображая себе какой-нибудь потайной ящик, но тут же сконфуженно припомнив счёт от прачки из «Нортэнгерского аббатства».<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Нервюра – выступающее и профилированное ребро готического крестового свода.

<sup>37</sup> Канифас – плотная хлопчатобумажная ткань с рельефными полосками.

<sup>38</sup> «Нортэнгерское аббатство» – роман Дж. Остин. В одном из эпизодов в руки романтически настроенной Кэтрин Морланд при таинственных обстоятельствах попадает некий свиток, который на поверку оказывается счетами от прачки и каретника.



Сэр Джордж великодушно направил свет фонаря на бюро, и кукольные личики снова погрузились во мрак, в котором они покоились все эти годы. Роланд поднял крышку бюро. Столешница была пуста. Пустовали ячейки на задней стенке, напоминавшие резные арки, пустовали два выдвижных ящика. Роланд не решался простукать стенки, подёргать выступы. Он не решался попросить сэра Джорджа открыть сундук. Он чувствовал себя каким-то соглядатаем: его обуревало бешеное любопытство – не корысть: любопытство, страсть даже более стихийная, чем похоть. Страсть к познанию. Он вдруг разозлился на Мод: стоит в потёмках столбом и пальцем не пошевелит, нет чтобы помочь. Кто-кто, а она со своим твёрдым характером могла бы настоять, чтобы поиски сокровищ среди этой жалкой безжизненной рухляди продолжались.

– Да что вы такое ищете? – спросил сэр Джордж.

Роланд не нашёлся что ответить. И тут за его спиной Мод ровно, внятно, словно произнося заклинание, начала читать:

Кукла крепче друга  
Сохранит секрет.  
Кукла не нарушит  
Верности обет.

Друг – он проговорчив,  
Чувство быстротечно —  
Что поверишь кукле,  
Будет тайной вечно.

Восковые губки,  
А на них печать:  
Дум заветных много,  
Есть о чём молчать.

Караулят куклы  
Днями и ночами  
Память обо всём, что  
Было между нами,

Бережно хранимого  
Не касаясь сами.  
Кукла не злонравна;  
Зло – оно от нас.

Но недвижней куклы  
Станем мы в свой час.  
Куклиной же прелести  
Время не указ.

Сэр Джордж снова осветил кукольную кроватку.

– Здорово, – похвалил он. – Ну и память у вас. А я ничего наизусть запомнить не могу. Разве что Киплинга да всякие линкольнширские байки, какие понравятся. И что этот стишок значит?

– Здесь это похоже на подсказку, где искать сокровища, – тем же напряжённо-отчётливым голосом ответила Мод. – Кукла как будто что-то прячет.

– И что же она прячет? – поинтересовался сэр Джордж.

– Да что угодно, – неожиданно вмешался Роланд, рассчитывая сбить старика со следа. – Безделушки какие-нибудь, подарки на память.

Он видел, что Мод что-то прикидывает.

– Чьи-нибудь детишки их наверняка вынимали, – рассудительно заметил хозяин. – Они тут с тысяча восемьсот девяностого года.

Мод опустила на колени на пыльный пол:

– Можно?

Луч фонаря обратился на неё, высветил склоненное над мраком лицо – прозрачно-восковое, как на картинах де Латура. Мод взяла светловолосую куклу за талию и вынула из кровати. Капот на кукле был розовый, шёлковый, с узором из розочек по воротнику и жемчужными пуговками. Мод передала крошечное существо Роланду, и тот, бережно, как котёнка, прижал куклу к себе. За первой последовала вторая, в белом платье в мелкую складку, с ажурной вышивкой, и третья, черноволосая, в тёмно-синем, переливчатом, строгого фасона. На прижимавшую их к груди руку Роланда тяжело склонились кукольные головки, ножки свисали безжизненно – зрелище, от которого делалось не по себе. Мод сняла подушку, откинула покрывало, три тонких шерстяных одеяльца, вышитую шаль, приподняла перину, ещё одну, соломенный тюфячок. Пошарив под ними по деревянному корпусу, она подняла укреплённую на петлях дощечку и достала что-то обёрнутое тонким белым полотном и часто-часто, как мумия, обмотанное тесьмой.

Все молчали. Мод замерла. Роланд шагнул к ней. Он знал, знал, что в этом свёртке!

– Должно быть, кукольные платья, – сказала Мод.

– А вы посмотрите, – сказал сэр Джордж. – Вы прямо как знали, где искать. И уж верно, догадываетесь, что там внутри. Разворачивайте.

Точёными, бледными в свете фонаря пальцами Мод подёргала старые узлы, чуть прихваченные, как оказалось, сургучом.

– Может, перочинный нож дать? – предложил сэр Джордж.

– Нельзя... Резать нельзя... – пробормотала Мод.

Роланда так и подмывало предложить помощь. Мод возилась с узлами. Наконец свёрток освободился от тесьмы, полотно было размотано. Внутри оказались два пакета, обёрнутые промасленным шёлком и перехваченные чёрной лентой. Мод принялась развязывать ленту. Старый шёлк взвизгивал под пальцами, выскальзывал из рук... Вот они, распечатанные письма, две пачки, аккуратные, как стопки сложенных носовых платков. Не утерпев, Роланд подался вперёд. Мод взяла самые верхние письма из каждой пачки. «Графство Суррей, Ричмонд, улица Горы Араратской, „Вифания“, мисс Кристabelle Ла Мотт». Бурные чернила, тот самый решительный, ветвистый – тот самый почерк. И другой – гораздо мельче, и чернила скорее лиловые: «Лондон, Рассел-сквер, 29, Рандольфу Генри Падубу, эсквайру».

– Значит, он всё-таки послал, – сказал Роланд.

– Он ей, она ему, – сказала Мод. – Тут всё. Всё так и лежало.

– Так что вы всё-таки нашли? – спросил сэр Джордж. – И откуда вы знали, что надо порыться в кукольной кровати?

– Я не знала, – чётким, звенящим голосом ответила Мод. – Просто вспомнила стихотворение и сообразила. Чистое везение.

– Мы подозревали, что такая переписка велась, – объяснил Роланд. – Мне в Лондоне попало... так, одно письмо. И я приехал посоветоваться с доктором Бейли... Только и всего. Это может быть... – он хотел сказать «ужасно важно», но, спохватившись, поправился, – довольно-таки важно.

«Может быть, это переворот в литературоведении», – чуть не добавил он, но снова спохватился: чутьё подсказало, что лучшая тактика – не болтать лишнего.

– Эта находка может придать нашим с мисс Бейли исследованиям, нашей научной работе другое направление. Никто даже не знал, что они были знакомы.

– Гм... – произнёс сэр Джордж. – Дайте-ка сюда эти пачки. Спасибо. Лучше вернёмся и покажем Джоан. И разберёмся, есть в них какой прок или нет. Или, может, вы желаете тут ещё во что-нибудь заглянуть?

Он прошёлся по стенам лучом фонаря, мелькнули косо висящая репродукция «Прозерпины» лорда Лейтона и декоративная вышивка крестом: какой-то девиз; какой – под налётом пыли не разглядеть.

– Не сейчас, – сказала Мод.

– Пока что нет, – подхватил Роланд.

– А может, вы сюда больше и не попадёте, – скорее пригрозил, чем пошутил сэр Джордж из темноты, откуда бил луч света, и фонарь повернулся к выходу.

Все пустились в обратный путь; в руках у сэра Джорджа были пачки писем, у Мод – опустевший кокон из полотна и шёлка, Роланд нёс кукол: им владело глухое чувство, что оставлять их в темноте жестоко.

Находка взволновала леди Бейли до глубины души. Все расселись возле камина. Сэр Джордж положил письма на колени жене, и она перебирала и перебирала их под жадными взглядами двух литературоведов. Роланд рассказал наполовину придуманную историю о найденном им «так, одном письме», не уточняя, когда и где он его нашёл.

– Так это, значит, было любовное письмо? – с наивной прямотой спросила леди Бейли.

– Нет, что вы, – ответил Роланд и добавил: – Но с таким, знаете, чувством написано – видно, что о чём-то важном. Это был черновик первого письма. Для моей работы это письмо имело такое значение, что я и приехал сюда навести у доктора Бейли кое-какие справки о Кристabelle Ла Мотт.

А самому при этом хотелось спрашивать, спрашивать. Дату, ради всего святого, назовите дату на первом письме Падуба! Это *то самое* письмо? Как письма оказались вместе? Сколько продолжалась переписка, что ответила Кристabelle, что за история с Бланш и Чужим?..

– Ну-с, так как же нам поступить? – напыщенно, с расстановкой спросил сэр Джордж. – Какого вы мнения, молодой человек? Вы, миссис Бейли?

– Пусть кто-нибудь их прочитает, – предложила Мод.

– А...

– И вы, разумеется, думаете, что прочитать следует вам?

– Мне... нам бы, конечно, хотелось. Очень бы хотелось.

– Американке, понятное дело, тоже.

– Конечно. Если бы она о них знала.

– Вы ей расскажете?

Мод колебалась. Сэр Джордж не сводил с неё яростных синих глаз: в отблеске камина взгляд его казался особенно цепким.

– Нет, пожалуй. Во всяком случае, пока нет.

– Охота быть первой?

Мод вспыхнула:

– Конечно. Всякому было бы охота. На моём... на нашем месте.

– Ну, Джордж, ну что страшного, если они прочтут? – вмешалась Джоан Бейли, достав первое письмо из конверта и бросая на него не жадные, а любопытные взгляды.

– Во-первых, я терпеть не могу, когда тревожат прах. К чему копаться в грязном белье нашей блаженной сказочницы? Пусть сохранит после смерти своё доброе имя, бедняжка.

– У нас и в мыслях нет копаться в грязном белье, – возразил Роланд. – Тут, кажется, никакой грязи. Я просто надеюсь... что он писал ей о своих взглядах на поэзию... на историю... о таких вот вещах. Это был один из самых плодотворных периодов его творчества... Вообще-

то, его письма далеко не шедевры... Он ей писал, что она его понимает, – в том письме, которое я... которое я видел. Он писал...

– Во-вторых, Джоани, что нам вообще известно об этих двух субъектах? Откуда мы знаем, что эти... документы следует показывать именно им? Писем вон какая грудa: два дня придётся читать. Ты же понимаешь, из рук я их не выпущу.

– Пусть приезжают сюда, – сказала леди Бейли.

– Здесь чтения больше чем на два дня, – заметила Мод.

– Леди Бейли, – отважился Роланд, – письмо, которое я видел, – черновик первого письма. Это оно? Что в нём говорится?

Леди Бейли надела очки, и её приятное крупное лицо украсилось двумя кружками. Она прочла:

*Многоуважаемая мисс Ла Мотт,*

*наша с Вами беседа за завтраком у любезного Крэбба доставила мне несказанное наслаждение. Ваши мудрые и проницательные суждения заставили забыть легкомысленные остроты студиозусов и затмили даже повествование нашего хозяина о нахождении им Виландова бюста. Могу ли я надеяться, что и Вам беседа наша пришлась по душе? Могу ли я также иметь удовольствие навестить Вас? Мне известно, что жизнь Ваша протекает в совершенном покое, но обещаю, что ничем Вашего покоя не потревожу: я хочу лишь побеседовать с Вами о Данте и Шекспире, о Водсворте и Кольбридже, о Гёте и Шиллере, о Вебстере и Форде\*, о сэре Томасе Брауне et hoc genus omne<sup>39</sup>, не исключая, разумеется, и Кристабель Ла Мотт и задуманного ею величественного произведения о Фее. Настоятельно прошу Вас дать мне ответ. Вы, смею думать, знаете, как счастлив будет увериться в Вашем согласии*

*Ваш покорнейший слуга*

*Рандольф Генри Падуб.*

– А ответ? – спросил Роланд. – Ответ? Простите, мне просто не терпится узнать... Я давно ломаю голову, ответила она или нет, а если ответила, то как.

Леди Бейли не спеша, словно ведущая, которая хочет подогреть нетерпение телезрителей, объявляя победительницу конкурса на лучшую актрису года, взяла верхнее письмо из второй пачки.

*Многоуважаемый мистер Падуб,*

*право же, я не интересничаю, изображая неприступность, – посмею ли я так унижать Вас и себя самое, – и как Вы сами можете унижать себя подобными подозрениями? Да, я живу уединённо, замкнувшись в мире своих мыслей, – такая жизнь мне отрадна, – но отнюдь не как принцесса в лесной глуши, а больше как упитанная и самодовольная паучиха посреди своей блистающей сети, да простится мне это несколько неприятное сравнение. Величайшую симпатию вызывает у меня Арахна – особа, достигшая совершенства в плетении узоров и подчас склонная с беспримерной свирепостью язвить всякого чужака, явился ли он засвидетельствовать своё почтение или вломился просто так: различий между ними она не делает или, как часто случается, замечает слишком поздно. Собеседница я, право, неискusная: речь моя не отмечена изяществом, а что до мудрости, которую Вы углядели в моих суждениях, то за мудрость Вы приняли – должно быть,*

---

<sup>39</sup> И прочих в том же роде (лат.).

*приняли – ответ Вашего собственного сияния на бугристой поверхности безжизненной луны. Я – это то, что выходит из-под моего пера, мистер Падуб, перо – всё, что есть во мне лучшего, и в знак добрых чувств, которые я питаю к Вам, прилагаю к письму своё стихотворение. Разве не предпочтёте вы стихотворение, пусть и далёкое от совершенства, тартинкам с огурцом, пусть и умело приготовленным, тонко нарезанным, в меру посоленным? Без сомнения, предпочтёте – как предпочла бы и я. Паучиха в стихотворении – не я, существо с шёлковым характером, а моя куда более свирепая и работающая сестрица. Как не восхищаться их старательностью без насады? Вот если бы и стихи выплетались так же легко, как шёлковая нить. Я пишу вздор, но если Вам будет угодно продолжить переписку, Вы получите глубокомысленные рассуждения о Присносущем Нет, о Шлейермахеровом\* Покрывале Иллюзии<sup>40</sup>, о Райском Млеке – о чём только пожелаете.*

*Ваша в некотором смысле покорная*

*Кристабель Ла Мотт.*

Леди Бейли читала медленно, многозначительно выделяя незначительные слова, «et hoc genus omne» и «Арахна» она выговорила с запинкой. В таком чтении, как показалось Мод и Роланду, подлинный словесный рисунок и чувства Падуба и Ла Мотт словно подёрнулись матовым стеклом. Зато сэр Джордж, видимо, оценил чтение жены более чем снисходительно. Взглянув на часы, он объявил:

– Время поджимает. Давайте почитаем их, как я – романы Дика Фрэнсиса: не бьюсь над разгадкой, а сразу заглядываю в конец. А потом мы их, пожалуй, уберём, и я подумаю, как мне лучше ими распорядиться. Посоветуюсь. Да. Порасспрошу что да как. Вам ведь всё равно уже пора, да?

Это был не вопрос. Сэр Джордж ласково взглянул на жену:

– Читай, Джоани. Чем там дело кончилось?

Леди Бейли пробежала глазами оба листка:

– Она, кажется, просит его возвратить её письма. А его письмо – ответ.

*Дорогой Рандольф,*

*итак, всё кончено. Я рада этому – да, рада от всей души. Ты, без сомнения, тоже, не правда ли? Напоследок мне хотелось бы получить обратно свои письма – все до единого, – не потому, что я сомневаюсь в твоей порядочности, просто они теперь мои, тебе они больше не принадлежат. Я знаю, ты поймёшь меня – по крайней мере, в этом.*

*Кристабель*

*Друг мой,*

*ты спрашивала свои письма – вот они. Готов дать отчёт за каждое. Два письма мною сожжены, и среди оставшихся есть – без сомнения, есть – такие, которым следовало бы поскорее предназначить ту же участь. Но пока они в моих руках, я не в силах уничтожить больше ни одного листа – ни одной написанной тобою строки. Письма эти – письма удивительного поэта, и свет этой неколебимой истины не могут угасить даже смятенные, противоборствующие чувства, с которыми я на них гляжу, пока они ещё занимают некоторое место в моей жизни – пока они мои. Ещё полчаса – и они перестанут быть моими: я уже упаковал их, приготовил к отправке, а ты поступай с ними как знаешь. Я думаю, тебе следует их сжечь, однако если бы*

---

<sup>40</sup> Фамилия Шлейермахер переводится с немецкого как «создатель вуалей».

*Абеляр предал уничтожению слова верности Элоизы, если бы Португальская монахиня<sup>41</sup> обрекла себя на молчание, разве не стала бы наша духовная жизнь скуднее, разве не утратили бы мы толику своей мудрости? Мне кажется, что ты уничтожишь их: жалость тебе незнакома, постичь всю меру твоей безжалостности мне ещё предстоит, я лишь начинаю её постигать. И всё же, если нынче ли, в будущем ли я смогу оказать тебе дружескую услугу, то надеюсь, что ты без колебаний обратишься ко мне.*

*Из прошедшего я не забуду ничего. Забывать не в моей натуре. (Прощать... но что нам теперь говорить о прощении?) Поверь, в прочном воске упрямой моей памяти отпечатаются каждое слово, написанное и произнесённое, – и не только слова. Запечатлелась, заметь, каждая мелочь, всё до тонкостей. Сожжёшь письма – они до конца дней моих обретут посмертное существование у меня в памяти, подобно тому как сетчатка глаза, следящего падение ракеты, удерживает светлый след по её угасанию. Я не верю, что ты сожжёшь их. Я не верю, что ты их не сожжёшь. О решении своём ты, я знаю, меня не известишь, так что полно мне мараить бумагу в безнадежной надежде на ответ, которого мне уже не предвкушать: все ответы – будоражающие, непохожие, чаще всего восхитительные – в прошлом.*

*Я думал когда-то, что мы станем друзьями. Рассудок говорит, что твоё крутое решение справедливо, но мне грустно терять доброго друга. Если когда-нибудь ты попадёшь в беду... Впрочем, ты знаешь, я уже написал. Ступай с миром. Удачных тебе стихов.*

*Твой в некотором смысле покорнейший*

*Р. Г. П.*

– А вы говорили – никакого грязного белья, – обратился сэр Джордж к Роланду странным тоном: укоризна пополам с удовлетворением.

Роланд при всей своей кротости почувствовал, что копившаяся в душе досада начинает его душить. Его раздражал бесцветный голос леди Бейли, сбивчиво читавшей письмо Падуба – не письмо, а музыка, если прочесть самому, про себя, – он мучился невозможностью завладеть этими потрясающими документами замедленного действия и заняться ими самостоятельно.

– Нам ещё ничего не известно, – сдавленным голосом, едва сдерживаясь, возразил он. – Надо сперва просмотреть всю переписку.

– Шумиха поднимется.

– Не то чтобы шумиха. Они имеют скорее литературную ценность...

Мод лихорадочно прикидывала, с чем можно сравнить эту находку, но аналогии подворачивались слишком уж вызывающие. Всё равно что найти... любовные письма Джейн Остин.

– Знаете, когда читаешь собрание писем любого писателя, когда читаешь её биографию, складывается впечатление, будто что-то упущено, до чего-то биографы не добрались – какое-то важное, переломное событие, нечто такое, что самой поэтессе было дороже всего. Всегда оказывается, что какие-то письма уничтожены – чаще всего как раз самые-самые. Вполне вероятно, что в судьбе Кристабель это и были такие письма. Он – Падуб, – видимо, так и считал. Он сам пишет.

– Как интересно! – ахала Джоан Бейли. – Это же надо как интересно!

Упрямый, подозрительный сэр Джордж стоял на своём:

– Мне надо посоветоваться.

– Посоветуйся, голубчик, – согласилась жена. – Только не забудь, что это мисс Бейли оказалась такой сообразительной и нашла твоё сокровище. И мистер Митчелл.

---

<sup>41</sup> Имеются в виду любовные письма португальской монахини Марианы Алькофорато, изданные в 1669 г.

– Если вы, сэр, всё-таки согласитесь предоставить мне... нам возможность поработать с письмами, мы сможем вам объяснить, что из них явствует... сможем сказать, какое они имеют научное значение... возможна ли их публикация... Уже из того, что я увидела, понятно, что в свете этого открытия мне придётся внести в свою работу серьёзные уточнения... Если не принимать его в расчёт, получится совсем не то... И у доктора Митчелла с его работой о Падубе тоже: к нему это тоже относится.

– Да-да, – подхватил Роланд. – Придётся изменить всё направление исследования.

Сэр Джордж посматривал то на Роланда, то на Мод:

– Может быть. Очень может быть. Но почему я должен доверить письма *именно вам*?

– Как только о них станет известно, – предупредил Роланд, – к вам сюда целые толпы повалят. Толпы.

Мод, которая как раз этого и боялась, обожгла Роланда добела раскалённым взглядом. Но сэр Джордж, как и рассчитывал Роланд, понятия не имел ни об Аспидсе, ни о Собрайле, он опасался нашествия паломников и паломниц вроде Леоноры Стерн.

– Этого ещё не хватало!

– Мы составим вам каталог всех писем. С описанием. Кое-какие перепечатаем на машинке – с вашего разрешения...

– Не торопитесь. Я ещё посоветуюсь. И больше мне пока добавить нечего. Так будет справедливо.

– Когда вы примете окончательное решение, сообщите, пожалуйста, нам, – попросила Мод.

– Непременно сообщим, – пообещала Джоан Бейли. – Непременно.

Её ловкие руки собрали лежавшие на коленях письма, уложили в стопку, выровняли края.

\* \* \*

Машина мчалась по тёмной дороге. Роланд и Мод перебрасывались отрывистыми деловыми замечаниями, а воображение их тем временем корпело над чем-то совсем другим.

– Нас вместе осенило. Что про их настоящую ценность лучше помалкивать. (Мод.)

– Они стоят бешеных денег. (Роланд.)

– Если бы про них узнал Мортимер Собрайл...

– Они уже завтра оказались бы в Гармония-Сити.

– И сэру Джорджу перепал бы порядочный куш. Хватило бы на ремонт дома.

– А я даже не представляю, *сколько* бы ему перепало. Я в ценах не разбираюсь. Может, рассказать Аспидсу? По-моему, этим письмам место в Британском музее. Они же что-то вроде национального достояния.

– Это любовные письма.

– Похоже на то.

– Может, сэру Джорджу присоветуют обратиться к Аспидсу. Или Собрайлу.

– Боже упаси, только не к Собрайлу. Не сейчас.

– Если ему посоветуют обратиться в университет, там его, скорее всего, направят ко мне.

– А если ему посоветуют обратиться в «Сотби», то пропали письма. Попадут в Америку или ещё куда-нибудь, в лучшем случае к Аспидсу. Не пойму, почему мне этого так не хочется. Чего я прицепился к этим письмам? Они же не мои.

– Потому что мы их нашли. И ещё... ещё потому, что они личные.

– Но что нам за радость, если он будет держать их под спудом?

– Теперь, когда мы про них знаем, радости действительно немного.

– Не заключить ли нам с вами такой... договор, что ли? Если один из нас разведает что-нибудь ещё, пусть сообщит другому – и никому больше. Ведь это касается обоих поэтов в равной степени, и в дело могут вмешаться люди с самыми разными интересами.

– Леонора...

– Расскажите ей – всё тут же станет известно Аспидсу и Собрайлу, а они куда предприимчивее её.

– Логично. Будем надеяться, что он обратится в Линкольнский университет и его направят ко мне.

– Я умираю от любопытства.

– Будем надеяться, он не станет тянуть с ответом.

\* \* \*

Однако ждать новых известий о письмах и сэре Джордже пришлось долго.



## Глава 6

*Вкус, ставший страстью, приводил его  
В невзрачные мещанские жилища  
С их затхлостью семейных чаепитий;  
Лощёный и улыбчивый еврей  
Ведёт его среди аляповатых  
Шкафов и прочих «мёбелей» к столу  
Под кубовым покровом Дня Седьмого,  
Обиштым выцветшими полосами  
Когда-то бурой и пунцовой ткани.  
Здесь из закрытого на семь замков  
Нелепого пузатого комода,  
Из дивной мягкости чехлов шелко́вых  
Достанут и разложат перед ним  
Лазурно-аметистовую древность:  
Две дюжины дамасских изразцов —  
Хоро́м небесных ярче, тоньше цветом,  
Чем оперение на шее павы.  
И мёртвых светочей воскресный свет  
Ему был слаще мёда, и тогда  
Он ясно видел, чем живёт и дышит,  
И не жалел он золота за право  
Глядеть ещё, ещё...*

*Р. Г. Падуб. Великий Собиратель*

Ванная представляла собой длинное узкое помещение цвета засахаренного миндаля, отбиравшее не так уж много площади у жилых комнат. На полу – иссера-лиловые кафельные плитки. Некоторые – не все – украшали зыбкие очертания собранных в букеты белых лилий: работа итальянских дизайнеров. Таким же кафелем были в половину высоты облицованы стены, а выше пестрели виниловые обои с волнистым узором, по которым расплзлись лучащиеся шары, восьмилепестковые твари, морские моллюски – ярко-багровые, розовые. В тон им – дымчато-розовые ванна, раковина, унитаз и разнообразные приспособления из керамики: держатели для туалетной бумаги и бумажных полотенец, кружка с зубными щётками на блюде вроде губной пластины, какими щеколят негры из африканских племён, полочка в форме ракушки, а на ней гладенькие яйцевидные куски мыла, тоже розовые и багровые. На тщательно протёртых виниловых шторах розовел нарисованный рассвет и громоздились пухлые, тронутые румянцем облака. Возле ванны лежал крапчатый, тёмно-лиловый коврик на резиновой, под кожу, подкладке, и такой же коврик полукругом обхватывал постамент унитаза. На крышке унитаза, словно чепчик с оборками, красовался чехол из того же материала, подбитый чем-то мягким. На закрытом унитазе, чутко прислушиваясь к каждому шороху в доме, напряжённо-сосредоточенный, примостился профессор Мортимер П. Собрайл. Он возился с пачкой бумаг, фонарём в чёрном резиновом корпусе и каким-то чёрным матовым ящичком средних размеров, который умещался у профессора на коленях, не упираясь в стену.

Это была не та обстановка, к которой привык Собрайл. Но привкус несообразности и недозволенности приятно щекотал ему нервы. На профессоре был длинный халат из чёрного шёлка с малиновыми отворотами, под ним – чёрная шёлковая пижама, отделанная малиновым кантом, нагрудный карман украшала монограмма. По чёрному бархату шлёпанцев, напоми-

навшему кротовой шкурку, золотой нитью вышита женская голова то ли с лучистым сиянием, то ли со вздыбленными волосами. Шлёпанцы были изготовлены в Лондоне по описанию самого Собрайла. Рисунок повторял скульптурное изображение на портике здания, где помещалось одно из старейших подразделений Университета Роберта Дэйла Оуэна, Мусейон Гармонии, названный так в подражание древней александрийской академии, этого «гнездовья муз».<sup>42</sup> Скульптура изображала мать муз Мнемозину, правда сегодня мало кто узнавал её без под- сказки, а те, кто нахватал кое-какие крохи образованности, принимали её за Медузу. Неброс- кая, без особых претензий виньетка в виде головы Мнемозины украшала и почтовую бумагу, на которой писал Собрайл. Но его перстень с печаткой, внушительным ониксом, носил другое изображение – крылатого коня. Этот перстень, принадлежавший когда-то Рандольфу Генри Падубу, лежал сейчас на краю раковины, над которой Собрайл только что вымыл руки.

Из зеркала на Собрайла смотрело тонкое правильное лицо. Серебристые волосы, под- стриженные самым изысканным и беспощадным образом, очки-половинки в золотой оправе, поджатые губы – поджатые не по-английски, а по-американски, без чопорности: человек с такими губами не станет глотать гласные и цедить слова. Подтянутая сухопарая фигура, аме- риканские бёдра, на которые так и просится элегантный ремень или – призрак из другого мира – ковбойский ремень с кобурой.

Собрайл дёрнул шнур, и обогреватель, зашипев, умерил пыл. Профессор щёлкнул выключателем чёрного ящика. В ящике тоже раздалось короткое шипение, полыхнула вспышка. Собрайл включил фонарь и пристроил его на краю раковины так, чтобы луч падал на ящик. Затем погасил общий свет и принялся за работу, управляясь с откидными лотками и выключателями ящика с ловкостью заправского фотографа. Двумя пальцами он бережно извлёк из конверта письмо – старинное письмо, – умело разгладил складки, поместил в ящик, закрыл крышку, нажал кнопку...

Чёрный ящик – устройство, которое Собрайл придумал и усовершенствовал ещё в пяти- десятые годы, – был ему очень дорог, он ни за что не променял бы этот аппарат, не один десяток лет служивший ему верой и правдой, на более современную и более удобную технику. В поис- ках документов, написанных рукой Падуба, профессор мастерски набивался на приглашения в такие дома, где другому и в голову бы не пришло их искать. Во время одного такого визита он пришёл к заключению, что неплохо бы как-нибудь фиксировать найденные материалы для себя: на тот случай, если владелец, вопреки интересам науки, откажется продать находку или даже не позволит снять копию, – пару раз такое действительно случалось. Кое-что из этих тай- ком сделанных копий оказывалось потом единственным воспроизведением документа, кото- рый канул без следа. Впрочем, с нынешней находкой такого не произойдёт: судя по всему, стоит миссис Дэйзи Уопшотт услышать, какую сумму ей предлагают за сокровище, оставленное в наследство покойным мужем, – а её, кажется, устроит и умеренное вознаграждение, – и она уступит письма без колебаний. Но прежде бывало всякое, и, если она всё-таки заупрямится, другого шанса не будет. Завтра Собрайлу предстоит вернуться в уютный отель на Пиккадилли.

Письма не представляли собой ничего особенного. Они были адресованы свекрови Дэйзи Уопшотт, – кажется, её звали София, а Рандольф Генри, кажется, приходился ей крёстным отцом. Разобраться с её подноготной можно будет после. Про миссис Уопшотт Собрайлу сооб- щил знакомый, вездесущий книготорговец, который «проворачивал» у себя в округе аукционы и, если попадалось что-нибудь любопытное, давал знать Собрайлу. Миссис Уопшотт письма на торги не выставяла. Она помогала организовывать чай и между прочим рассказала мистеру Бигтсу о письмах, которые у них в семье называли «бабусины письма про деревья от того сочи- нителя». И мистер Бигтс, когда писал Собрайлу, упомянул их в постскрипуме. И Собрайл

<sup>42</sup> Мусейон – созданное в III в. до н. э. в Александрии египетской научное учреждение, в котором занимались исследова- ниями в области филологии, математики, ботаники и зоологии.

полгода искушал миссис Биггс вкрадчивыми расспросами и наконец уведомил, что «проездом» будет в их краях. Собрайл лукавил. Он отправился с Пиккадилли в пригород Престона специально, со вполне определённой целью. Вот какими судьбами оказался он в окружении крапчатых половичков, с четырьмя короткими письмами в руках.

*Милая София,*

*благодарю тебя за письмо и отменные рисунки уток и селезней. Я уже старик, своих детей и внуков не имею, поэтому не взыщи, если стану писать тебе как доброму другу, приславшему мне славный подарок, который я буду хранить как зеницу ока. Какая наблюдательность видна в изображении вставшего на дыбки утёнка, который копошится среди корней, отыскивая червячков на дне высохшего пруда!*

*Я не такой искусный рисовальщик, как ты, но, по моему убеждению, подарки следует отдавать, и вот тебе портрет моего однофамильца, могучего ясеня: ведь прежде и яшень называли иногда падубом. Этот яшень вышел кривобоким. Яшень – дерево вместе и обыкновенное, и магическое – не в том смысле, что обладает волшебной силой, а потому, что наши скандинавские предки верили, будто он скрепляет собою мироздание: корни его уходят в преисподнюю, а вершина касается небес. Из ясеня получают превосходные древки для копий, на него удобно взбираться. Почки его, как заметил лорд Теннисон, цветом чёрные.*

*Надеюсь, ты не в обиде, что я называю тебя не Софи, а София. «София» значит «мудрость» – божественная Премудрость, которая сохраняла миропорядок, покуда Адам и Ева в райском саду в безрассудстве своём не совершили грех. Ты, без сомнения, вырастешь мудрой-премудрой, а пока – резвись и радуй нарисованными утками пожилого своего обожателя Рандольфа Генри Падуба.*

Эти словоизлияния представляли интерес исключительно как раритет. По данным Мортимера Собрайла, это было единственное письмо Падуба к ребёнку. Поэт имел репутацию детоненавистника (от племянников и племянниц жены его старательно оградяли, и свидетельств, что он терпеливо сносил их присутствие, не имелось). Теперь мнение на этот счёт придётся уточнить. Собрайл переснял остальные письма, к которым прилагались рисунки платана, кедра и грецкого ореха, припал ухом к двери и прислушался, не возится ли где-нибудь миссис Уопшотт или её жирненький терьер. Скоро он убедился, что пёс и хозяйка мирно похрапывают, каждый в своей тональности. Профессор на цыпочках прокрался по лестничной площадке, только раз шаркнув подошвой по линолеуму, и юркнул в отведённую ему комнату для гостей: нечто вроде вычурно отделанной шкатулки, где на изогнувшемся полуколосье туалетного столика со стеклянным верхом и матерчатой юбочкой – белая сетка поверх красно-бурого атласа – стояло расписанное гардениями блюдо в форме сердечка, на котором Собрайл оставил карманные часы Рандольфа Падуба.

Утром он завтракал с Дэйзи Уопшотт, радушной пышногрудой женщиной в креплешинном платье и розовом шерстяном джемпере. Как ни сопротивлялся Собрайл, на столе перед ним появилась громадных размеров яичница с ветчиной, грибы, запечённые с помидорами, сосиски с тушёной фасолью. Он ел треугольные гренки, зачерпывая ложкой в форме устричной раковины апельсиновый конфитюр, который был подан в вазочке гранёного стекла с откидной крышечкой. Он налил себе крепкого чая из серебряного чайника, укрытого расшитым колпаком-наседкой. Стойкий приверженец чёрного кофе, чай он терпеть не мог, однако выпил и похвалил. За окном виднелся только куций газон, а по сторонам, за пластиковыми ограждениями, – ещё два таких же. (Дома, глядя из окна своего элегантного особняка, Собрайл видел

регулярный сад, за которым раскинулась поросшая можжевельником и полынью равнина, а вдали вздымались в чистое небо силуэты гор.)

– Спалось очень хорошо, – сообщил Собрайл. – Удобно вы меня устроили, большое вам спасибо.

– Как же я рада, профессор, что вы письмами моего Родни заинтересовались. Они от мамы от его остались. Мамаша у него была настоящая леди из хорошего общества, а потом что-то у ней пошло не так – то есть это он так говорил. Сама-то я его родных не знала. А поженились мы во время войны. Познакомились, когда он пожары тушил. Я тогда состояла прислугой, а он – ну по всему видно, что джентльмен. Работать – ни-ни. Мы лавочку держали – галантерея всякая, – так мне, правду сказать, всю-всю работу приходилось тащить на себе, а Родни только улыбается покупателям да конфузится. Откуда у них взялись эти письма – понятия не имею. У Родни-то – от мамашы: она думала, может, он в писатели подастся, а письма как раз от какого-то поэта. Родни показывал викарию, тот сказал – вроде ничего особенного. А я упёрлась: сохранию – и всё. А так-то конечно: подумаешь – письма к дитю, про деревья.

– У нас в университетском Собрании Стэнта в Гармония-Сити, – начал Собрайл, – хранится самая значительная, самая замечательная часть переписки Рандольфа Генри Падуба. Моя цель – узнать о его жизни как можно больше: про всех, кто был ему небезразличен, про всякую мелочь, которая его занимала. Эти ваши записочки, миссис Уопшотт... сами по себе они, конечно, ценности не представляют. Но если взглянуть на них шире, это новые детали, яркие штрихи. Падуб хоть и чуть-чуть, но всё-таки выступает из небытия. Я надеюсь, миссис Уопшотт, что вы согласитесь передать их в Собрание Стэнта. Там они будут постоянно сохраняться в идеальных условиях: кондиционирование, очищенный воздух, ограниченный доступ – только специалистам, по особому разрешению.

– Муж хотел, чтобы они перешли к Кейти, к дочке нашей. Если она пойдёт в литературу. Это её спальня, где вы спите. Она давным-давно живёт отдельно – у ней уже свои дети, сын и дочь, – но я её комнату не трогаю на всякий случай: чтобы, если беда какая, было куда вернуться. И она благодарна. Пока дети не пошли, она преподавала в школе. Вот как раз английский язык и литературу. В бабусины письма про деревья она частенько заглядывала. Мы их так называем: «бабусины письма про деревья». Так как же я их отдам? Надо её хотя бы спросить. Это вроде как её письма, она мне их доверила, понимаете?

– Конечно-конечно, обязательно посоветуйтесь с ней. Скажите, что мы, разумеется, хорошо заплатим. Непременно скажите. Средства у нас немалые.

– Средства немалые, – рассеянно повторила миссис Уопшотт. Она явно не решалась спросить о цене из боязни показаться невоспитанной. Собрайлу это было на руку: появлялась свобода манёвра. Аппетит миссис Уопшотт невелик, и самое высокое по её меркам вознаграждение всё равно едва ли превысит сумму, которую Собрайл выложил бы без колебаний, если бы письма продавались с торгов. В таких вопросах он редко ошибался. Обычно он с точностью до одного доллара угадывал, какую цену назначит какой-нибудь сельский священник или школьный библиотекарь до и после консультации со специалистами. – Надо подумать, – озабоченно и в то же время увлечённо сказала миссис Уопшотт. – Прикинуть, как будет лучше.

– Я вас не тороплю, – успокоил Собрайл, дожёвывая гренок и вытирая пальцы камчатной салфеткой. – Только одна просьба. Если к вам по поводу этих писем обратится кто-нибудь ещё, не забудьте, пожалуйста, что я проявил к ним интерес первым. В научной среде тоже есть свои правила приличия, но кое-кто не прочь поорудовать за спиной у коллег. Мне бы очень хотелось, чтобы вы дали слово, что ничего не предпримете в отношении этих писем, пока не посоветуетесь со мной. Если вас не затруднит дать такое слово. А я, со своей стороны, обещаю, что, если вы обратитесь ко мне за советом, в долгу не останусь.

– Избави бог! То есть без вашего совета – ни-ни. Если кто спросит. Хотя вряд ли кто и спросит. До сих пор, кроме вас, профессор, никто не спрашивал.

\* \* \*

Когда автомобиль Собрайла отъезжал от дома миссис Уопшотт, соседи повысовывались из окон. Собрайл ездил на длинном чёрном «мерседесе», в каких по ту сторону железного занавеса обычно разъезжает высокое начальство, – этакий быстроходный катафалк. Собрайл знал, что в Англии у этой машины, как и у твидовых пиджаков, создалась не в меру громкая репутация, но это его не смущало. «Мерседес» – машина красивая, мощная, а Собрайлу было не чуждо некоторое щегольство.

Машина плыла по автостраде, а Собрайл перебирал в уме последующие пункты назначения. «Сотби» выставил на продажу чей-то домашний альбом с автографом Падуба: четверостишие и подпись. Несколько дней надо будет уделить Британской библиотеке. При мысли о Джеймсе Аспидсе Собрайл поморщился. Кроме того, придётся сводить в ресторан Беатрисы Пухова – тоже событие не из приятных. Что может быть досаднее её чуть ли не исключительного права на дневники Эллен Падуб? Если бы с ними мог как следует поработать он, Собрайл, со своими научными сотрудниками, большая часть уже давно была бы опубликована с примечаниями и указателями, осталось бы только выявить совпадения с другими источниками – и кое-что в собственных находках Собрайла прояснилось бы. Но Беатриса проявляла истинно английские, на его взгляд, нерасторопность и дилетантизм: копалась, канителила, *размышляла* над словами и фактами, не продвигаясь ни на шаг, но, видимо, нисколько от этого не удручаясь, как Овца из «Алисы в Зазеркалье», вечная помеха к исполнению желаний. Собрайл захватил с собой целый блокнот с вопросами, ответы на которые – в случае, если позволит Беатриса, – можно было отыскать в дневниках Эллен. Что ни поездка в Англию, то новый блокнот с вопросами. Собрайл укрепился в одной мысли – это было и осознанное, непоколебимое убеждение, и сладострастное томление, жажда обладать тем, без чего ему никогда не знать покоя. Мысль была такая: бумаги Эллен Падуб должны храниться в Собрании Стэнта.

Собрайл не раз подумывал приняться за автобиографию. Когда-то ему приходило в голову написать историю своей семьи. Занятия историей, литературой окрашивают представления человека о самом себе. Та же участь постигла и Мортимера Собрайла. Бойко документируя наималейшие события жизни Рандольфа Генри Падуба – все его приезды и отъезды, званые обеды, пешие прогулки, его бесконечно благожелательное отношение к прислуге и неприязнь к назойливым почитателям, – Собрайл порой, даже в лучшую пору, ощущал, что сам он никто, что его «я» вымывается из него и перетекает в написанное, задокументированное. Между тем он был значительной фигурой. Он обладал властью – властью вершить судьбы вещей и повергать в уныние людей, властью чековой книжки, магической властью Тота,<sup>43</sup> властью Меркурия, перед которой открывается вход в святая святых Стэнтовского собрания. Он ревностно холил своё тело человека внешнего и простёр бы ту же заботу на человека внутреннего, если бы знал, кто он, этот внутренний, если бы тот был хоть немного различим. Такие мысли одолевали Собрайла лишь в те минуты, когда он, как сейчас, находился в пути, уединившись в сверкающем чёрной полировкой замкнутом пространстве.

## РАННИЕ ГОДЫ МОЕЙ ЖИЗНИ

Я знал, кем мне предстоит стать, уже в детстве, которое прошло в милом родительском доме в городе Чихауга, штат Нью-Мексико, неподалёку от живописной местности, где расположен Университет Роберта Дэйла

<sup>43</sup> Тот – в египетской мифологии бог мудрости, счёта и письма. В герметической традиции отождествлялся с Гермесом.

Оуэна. Своё призвание я ощутил, знакомясь с нашим домашним Кабинетом редкостей.

В нашем фамильном особняке, носящем название «Благодатный», была большая коллекция красивых и необычных предметов, собранная моим дедом и прадедом. По своим замечательным достоинствам все они заслуживали стать музейными экспонатами, однако в подборе предметов чувствовалась случайность: в коллекцию попадали либо раритеты, либо вещи, имевшие отношение к той или иной исторической личности прошлого. У нас имелся превосходный пюпитр для нот из красного дерева, изготовленный для Джефферсона, причём остроумная конструкция петель и наугольников была придумана самим заказчиком. У нас был бюст (скульптурный портрет Виланда), принадлежавший Крэббу Робинсону, человеку большой души, автору любопытнейших дневников, состоявшему в приятельских отношениях со многими знаменитостями: Робинсон высмотрел бюст в грудe хлама и спас от забвения. У нас был теодолит Сведенборга\* и сборник духовных песнопений Чарльза Уэсли\*, а также новая мотыга оригинального устройства, которой работал Роберт Оуэн, когда община «Новая Гармония» только-только возникла. У нас были часы с боем – подарок Лафайета Бенджамину Франклину, и трость Оноре де Бальзака, с вульгарной роскошью инкрустированная бриллиантами. Этому нуворишескому шику мой дед любил противопоставлять благородную простоту мотыги Оуэна. Правда, поскольку мотыга выглядела как новая, возникает подозрение, что ею пользовались не так часто, как представлялось деду, и всё-таки подобные чувства делают ему честь. Имелось в нашем доме немало *objets de vertu*,<sup>44</sup> в том числе отличные коллекции севрского фарфора, *pâte tendre*,<sup>45</sup> бокалов из венецианского стекла и восточных изразцов. Большинство этих предметов – из числа европейских изделий – попало в коллекцию стараниями моего деда: кропотливый собиратель оставленных без внимания безделушек, он объездил четыре континента и всякий раз, возвращаясь в свой белоснежный особняк, обращенный фасадом к плоскогорью, привозил с собой новые сокровища. Высокие застеклённые шкафы в Кабинете редкостей были изготовлены по его чертежу: гармоничное сочетание простоты, которая отличала практичную мебель моих предков, первых поселенцев, радетелей о духовном, с грубоватой основательностью, принятой в испаноязычной среде, в которой думали обжиться мои предки.

Мой отец, периодически страдающий расстройством, которое сегодня называют клинической депрессией, – из-за этого он был совершенно не способен ни к какой профессиональной деятельности, хотя окончил с отличием богословский факультет Гарварда, – иногда, чтобы развеять уныние, позволял мне рассматривать экспонаты в Кабинете редкостей. Когда очередной период депрессии сменялся светлым промежутком, отец брался за составление каталога, правда без особого успеха, поскольку никак не мог решить, какой же принцип взять за основу (самым простым решением был бы хронологический принцип – по времени изготовления или приобретения, – но простота отца не прельщала). «Смотри, Морти, – говорил он, приводя меня в кабинет. – Вот, малыш, история, которую можно поддержать в руках».

<sup>44</sup> Предметы, представляющие художественную или историческую ценность (фр.).

<sup>45</sup> Изделия из особого сорта тонкого фарфора (фр.).

Особенно очаровало меня собрание портретных зарисовок и фотографий знаменитых деятелей XIX века с их автографами: рисунки Ричмонда и Уоттса, фотографии, выполненные Джулией Маргарет Камерон\*. Снимки и рисунки были получены в подарок, а некоторые выпрошены моей прабабкой Присциллой Пенн Собрайл. Эти великолепные работы (я уверен, что подобной коллекции нет больше нигде в мире) легли в основу портретного фонда Стэнтовского собрания при Университете Роберта Дэйла Оуэна: возглавлять это собрание выпала честь мне. В детстве я не переставал любоваться этими чинными лицами, силой воображения вызывая на них ласковую улыбку. Я был зачарован глыбистыми чертами Карлейля, пленён прелестным обликом Элизабет Гаскелл\*, я благоговел перед величественной, глубокой задумчивостью Джордж Элиот и проникался неземной одухотворённостью Эмерсона. Я был болезненным ребёнком и начатки образования получил дома. Первой моей учительницей стала гувернантка, милая моя Нинни, которую сменил выпускник Гарварда, – отца уверяли, что он талантливый поэт, и занятия со мной должны были обеспечить ему надёжный заработок, благодаря которому он сможет написать нечто великое. Его звали Холлингдейл, Артур Холлингдейл. Уже в моих детских сочинениях ему увиделся литературный дар, и он попытался направить меня на эту стезю. Он прививал мне интерес к современной литературе (особенно, помнится, он увлекался Эзрой Паундом), но мои вкусы и склонности уже сформировались: я был устремлён в прошлое. Ничего великого Холлингдейл, кажется, так и не написал. Наша пустынная глухомань пришлась ему не по вкусу, он, как и подобает поэту, пристрастился к текиле и в конце концов оставил наш дом, причём ни мы, ни он об этом не сожалели.

В нашей семье сохранилось письмо – письмо очень важное, – адресованное Рандольфом Генри Падубом моей прабабке Присцилле Пенн Собрайл, урождённой Присцилле Пенн. Прабабка моя была натурой недюжинной и, так сказать, эксцентричной. Она родилась в штате Мэн в семье убеждённых аболиционистов, которые укрывали беглых рабов и вносили свою лепту в развитие новых идей и нового стиля жизни, распространившихся впоследствии по всей Новой Англии. Присцилла Пенн произносила пламенные речи в защиту эмансипации женщин, а также, по обыкновению всех ретивых борцов за права человека, поддерживала другие движения. Она твёрдо верила в целительную силу месмеризма, которую, по её словам, испытала на себе, и самозабвенно занималась спиритическими опытами: после того как сёстры Фокс<sup>46</sup> впервые услышали «стуки», это занятие в Соединённых Штатах превратилось в повальное увлечение. Она принимала у себя ясновидца Эндрю Уилсона, автора труда «Univercoellum», то есть «Ключ ко Вселенной», и он в её доме (тогда она проживала в Нью-Йорке) имел беседу с духами Сведенборга, Декарта и Бэкона. Стоит, наверно, добавить, что хотя она и не отрицала своего родства с квакерами Пеннами из Пенсильвании, но, как показали предпринятые мною исследования, никаких близких родственных связей между ними не существовало. Как ни обидно, изобретательная и разносторонняя Присцилла осталась в истории всего лишь

<sup>46</sup> В 1848 г. сёстры Фокс (Маргарет, Кейт и Лея), проживавшие в Хайдсвилле, штат Нью-Йорк, сообщили, что в их доме раздаются загадочные стуки. Сёстрам якобы удалось установить контакт с духами, подававшими эти сигналы. Эти события считаются началом спиритического движения.

в качестве создательницы «Укрепляющих порошков Присциллы Пенн» – патентованного лекарства, которое, очень бы хотелось надеяться, никого не свело в могилу и, возможно, если верить моей прабабке, спасло не одну тысячу страждущих от смерти, хотя бы и благодаря вере в его чудодейственную силу. Торговля порошками, сопровождавшаяся оригинальной рекламой, шла бойко и принесла Присцилле целое состояние, а состояние дало возможность построить «Благодатный». «Благодатный» повергает посетителей в изумление: он представляет собой точную копию палладианского особняка, которого мой прапрадед по отцовской линии Мортимер Д. Собрайл, живший в Миссисипи, лишился во время Гражданской войны. В те бурные годы его сын Шармен М. Собрайл в поисках средств к существованию подался на Север. Как гласит семейное предание, там он однажды увидел, как моя будущая прабабка обращается к собравшимся под открытым небом с речью о Гармонии по фурьеристскому образцу и об обязанности каждого следовать велению страсти и утолять жажду наслаждений. Шармен не мог оторвать от ораторши глаз. То ли по велению страсти, то ли не желая упустить своего, он объявил себя её сторонником и в 1868 г. вместе с группой единомышленников, задумавших основать фаланстер, переселился в Нью-Мексико. В их число вошли, говоря современным языком, бывшие фракционеры, не ужившиеся в опытных коммунах и поселениях, которые были недолговечными детищами Роберта Оуэна и его сына Роберта Дэйла Оуэна, автора книги «Спорная область между двумя мирами».

Устав фаланстера был не так строг, как у поселений Оуэна, и всё же затея потерпела неудачу, потому что число обитателей фаланстера так и не достигло магической цифры 1620 – именно столько разновидностей страсти присуще обоим полам, – а кроме того, никто из энтузиастов не смыслил в сельском хозяйстве и понятия не имел об условиях жизни в пустынной местности. Мой прадед, джентльмен-южанин и притом не лишённый в частной жизни деловой смётки, выждал время и предложил Присцилле воссоздать потерянный рай его юности на разумных и гармонических началах уклада, избранного Присциллой, – построить своё счастье на легкодоступных радостях семейной жизни (допустив присутствие в доме слуг, но, конечно, не рабов) и не сокрушаться по обществу приверженцев любви без разбору, которое оказалось таким разобщённым и неуправляемым. Доходы от торговли «Укрепляющими порошками» пошли на строительство прелестного дома, где я и моя мать проживаем и сейчас, а прадед увлёкся собирательством.

Портретов Присциллы сохранилось немало: как видно, это была женщина замечательной красоты и редкого обаяния. В 1860–1870 гг. её дом сделался центром спиритических изысканий, к которым она со своим обычным энтузиазмом старалась приобщить всех мыслящих людей всего цивилизованного мира. Должно быть, ответом на одну из этих попыток и стало письмо Рандольфа Генри Падуба, почему-то меня взволновавшее и определившее мои интересы на всю дальнейшую жизнь. Найти письмо Присциллы, несмотря на упорные поиски, мне не удалось, и у меня есть опасения, что она его уничтожила. Я сам не понимаю, почему из всех многочисленных раритетов, хранившихся у нас дома, самое сильное впечатление на меня произвело именно письмо Падуба. Пути Господни неисповедимы: вполне вероятно, что неприязнь, с которой он отозвался об увлечении моей прабабки, побудила меня доказать, что мы всё-таки



заслуживаем понимания, что мы достойны, если можно так выразиться, оказать ему гостеприимство. Как бы там ни было, когда отец, желая проверить моё умение разбирать почерк, впервые передал мне эти рукописные листы, обёрнутые папиросной бумагой, я ощутил что-то похожее на трепет, какой охватывал китсовского отважного Кортеса, безмолвно застывшего на Дарьенском пике.<sup>47</sup> И когда я взял письмо в руки, то почувствовал, по выражению Теннисона, донесшееся из прошлого прикосновение покойного. С тех пор я обитаю в мире «листвы опавшей, но живой – /Прекрасных писем мертвецов».

На потолке нашего Кабинета редкостей имеется небольшой купол из простого, не цветного стекла, имеющий необычное устройство: он оснащён жалюзи и зелёными шторами. Если повернуть ручку, помещение либо погрузится во тьму, либо наполнится мягким зелёным светом, не вредящим экспонатам. В тот день отец, вопреки обыкновению, открыл и жалюзи, и шторы, и в кабинет потоком хлынули солнечные лучи. Там, среди лучезарного безмолвия, у меня и возник замысел, приведший впоследствии к созданию Собрания Стэнга – жемчужины Мусейона Гармонии при Университете Роберта Дэйла Оуэна, одним из блистательных основателей которого был мой предок Шармен Собрайл (не без благотворного участия «Укрепляющих порошков»).

Привожу письмо Падуба моей прабабке полностью. Сейчас оно занимает подобающее ему место в IX томе издаваемого мной Полного собрания писем Падуба (№ 1207, с. 893). Выдержки из письма приведены в выходящем под общей редакцией профессора Лондонского университета Джеймса Аспидса Полного собрания сочинений Р. Г. П., издание которого, к огорчению читателей поэта, чересчур затянулось. Письмо цитируется в редакторских комментариях к поэме о спиритизме «Духами вожденные». Я не разделяю мнения профессора Аспидса о том, что моя прабабка была якобы прообразом одного из персонажей поэмы, чудовищно легковой миссис Экклеберг. Тех, кого интересует этот вопрос, отсылаю к моей статье «Случай ошибочной идентификации» (Труды Ассоциации современной филологии, LXXI, 1959, с. 174–180), где показано, что расхождения между персонажем и мнимым прототипом слишком многочисленны и недвусмысленны.

*Многоуважаемая миссис Собрайл,*

*я благодарю Вас за сообщение о Ваших опытах со спиритической планишеткой. Вы правы: мне в самом деле интересно всё, что вышло из-под пера Сэмюэля Тейлора Кольриджа. Но мне, признаться, изрядно претит сама мысль, что этот светлый дух, в мучениях покинувший юдоль земную, принуждён ворочать столы красного дерева, либо в полувоплощённом виде порхать по гостинным в отблеске камина, либо употреблять свой просветлённый разум на писание той дикой, вопиющей галиматши, которую Вы мне прислали. Разве не заслужил он вместо этого вкушать медвяную росу и упиваться молоком рая?<sup>48</sup>*

<sup>47</sup> Имеются в виду строки из стихотворения Дж. Китса «При первом прочтении Чапменова Гомера» (перевод С. Сухарева): Вот так Кортес, догадкой потрясён, Вперял в безмерность океана взор, Когда, преодолев Дарьенский склон, Небозримый встретил он простор.

<sup>48</sup> Несколько изменённая строка из стихотворения С. Т. Кольриджа «Кубла Хан».

*Я не шучу, мадам. Мне случалось наблюдать попытки вызвать явления, подобные тем, о которых Вы упоминаете, – слов нет, nihil humanum a te alienum puto<sup>49</sup>, и в том же следует признать всякому человеку моих занятий. Сколько я могу судить, самая правдоподобная причина таких явлений – сочетание бесстыдного обмана и своего рода заразной истерии, миазмов или обволакивающего марева из духовного смятения и лихорадочной взвинченности, которое неотлучно от нашего хорошего общества и придаёт остроту застольным беседам. Натуры рассудительные нашли бы источник этих миазмов в нарастающем материализме нашего общества и настойчивой потребности – понятной и неизбежной при нынешнем направлении умов – ставить под сомнение истинность религиозно-исторических свидетельств. В их отношении действительно ничего нельзя утверждать с определённой уверенностью, и историки, как и естественники, не дают покоя нашей простой вере. Даже если она выйдет из этих тягостных испытаний укрепленной, крепость эта достанется ей, как и полагается, нелегко, и произойдёт это, должно быть, уже не на нашем веку. Я вовсе не хочу сказать, что шарлатанское зелье, состряпанное, чтобы утолить позывающий на тошноту голод общества по определённым и прочным основаниям, воистину способно исцелять или само обладает основательностью.*

*И про историка, и про естественника можно сказать, что они сообщаются с мёртвыми. Кювье\* наделил вымершего мегатерия плотью, способностью двигаться и аппетитом, а месье Мишле\* и месье Ренан\*, мистер Карлейль и братья Гримм слухом живых различили истлевшие крики усопших и заставили их зазвучать. Я и сам при помощи воображения поддельваю нечто похожее: чревоутоляю, уступаю свой голос тем голосам и приноравливаю свою жизнь к тем жизням из прошлого, воскресить которые в нашу бытность – как предостережение, как пример, как неотступное прошлое – есть дело всякого мыслящего человека. Но, как Вам, должно быть, хорошо известно, средства бывают разные: одни – испытанные, надёжные, другие грозят бедой и разочарованием. Прочитанное, понятое, обдуманное, усвоенное рассудком – это уже наша собственность, мадам: то, с чем нам жить и работать. Занимайся изысканиями хоть всю жизнь – только и овладеешь что каким-нибудь клочком истории наших предков, а где уж там судить о происходившем за много эонов до появления рода человеческого. Но владеть этим клочком надо по-настоящему, чтобы затем передать его потомкам. Нis opus, hic labor est<sup>50</sup>. И я склонен утверждать, что лёгким, кратчайшим путём тут не пройти, избравшего такой путь ждёт судьба Беньянова Неведа, который у самых врат Града Небесного набрёл на тропу в Преисподнюю.*

*Задумайтесь, мадам, что такое эти Ваши попытки сноситься с ними, дорогими и грозными нашими мертвецами, напрямик? Какими такими знаниями воздали они Вам за потраченное время? Что бабушка забыла свою новую брошь в часах деда или что какая-то древняя тётушка в мире ином недовольна, что на её гроб в фамильном склепе поставили гробик младенца. Или, как напыщенно объявляет Ваш С. Т. К., что по смерти «достойных*

<sup>49</sup> Ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

<sup>50</sup> Вот где дело, вот в чём труд (лат.). В переводе С. Ошерова: «Вот что труднее всего» (Вергилий. Энеида, VI, 129). Слова Сивиллы, сказанные Энею, который намеревается спуститься в преисподнюю: В Аверн спуститься нетрудно. День и ночь распахнута дверь в обиталище Дита. Вспять шаги обратить и к небесному свету пробиться — Вот что труднее всего.

ожидает вечное блаженство, недостойные же подлежат искуплению грехов». (И это человек, который в своих истинных сочинениях на семи языках не сделал ни одной грамматической ошибки.) Будто это и без духов неизвестно! Что бывают неприкаянные души, что эти воспарившие пузыри земли<sup>51</sup>, эти обитатели воздуха, следуя своими невидимыми путями, попадают в поле нашего обычного восприятия – тут я готов с Вами согласиться. Что где-то в жутких местах бродят, приняв зримый, но бестелесный облик, истомившиеся воспоминания – этому есть некоторые свидетельства. Есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Но раскрыть эти тайны помогут не спиритические стуки да бряки, не осязаемые прикосновения духов, не полёты воздевшего руки мистера Хоума\* вокруг люстры – и не каракули, выведенные Вашей планшеткой, – а долгие терпеливые наблюдения за сложной работой мысли умерших и процессами, протекающими в живых организмах, поможет мудрость, глядящая вперёд и вспять<sup>52</sup>, помогут микроскоп и спектроскоп, а не вопрошания привязанных к земному духов и выходцев с того света. Мне знакома одна особа, человек большой души и ясного ума, которую подобные посягновения привели в полное расстройство, не принеся ей ничего доброго, кроме худого.

Я пишу так пространно, чтобы Вы не подумали, будто я не ценю Ваше расположение или, как скажут иные, нерассудительно отвечаю на него злобными нападениями. У меня на сей счёт есть собственные прочные убеждения и некоторый собственный опыт, по причине которых Ваши сообщения – Ваши сообщения от духов – меня несколько не интересуют и не забавляют. Настоятельно Вас прошу больше мне подобных писаний не присылать. Но Вы сами и Ваше бескорыстное стремление к истине, конечно же, вызываете у меня величайшее уважение и сочувствие. Ваша борьба за права женщин благородна и должна рано или поздно увенчаться успехом. Надеюсь в будущем получить о ней новые известия и прошу сохранить за мной право и впредь называться

Ваш покорнейший слуга

Р. Г. Падуб.

Это письмо было самой примечательной частью автобиографических заметок Собрайла, за ней тянулась канитель банальных воспоминаний о детстве или просто академичное перечисление вех в дальнейших отношениях автора с Рандольфом Генри Падубом – как будто (эту мысль Собрайл то и дело гнал) собственной жизни у автора не было, как будто, услышав магнетический шелест бумаги, увидев решительную чёрную вязь букв, он раз и навсегда сделался неотделим от того, *другого*. Как будто взяться за незаконченные наброски его толкало исключительно желание обратиться к этому письму, вставить его в текст, проштудировать, ввести в научный обиход, а вслед за тем порыв утихал, рвение шло на убыль и рассказ, потоптавшись на месте, обрывался. Во многих набросках Собрайл ни с того ни с сего добавлял, что с детскими воспоминаниями у него связан семейный запах – благоухание превосходной ароматической смеси, которую привезла в эту пустыню его бабушка: лепестки роз и освежающие эфирные масла, сандал и мускус. Он понимал, что не желает или не может продолжать записи в таком духе, потому что тогда придётся писать и о матери: Собрайл жил с ней в одном доме и, выезжая за границу, каждый день посылал ей длинные тёплые письма. Докапываться до причины, почему мать кажется запретной темой, ему не хотелось. У каждого из нас в жизни есть что-

<sup>51</sup> У. Шекспир. Макбет, I, 3.

<sup>52</sup> У. Шекспир. Гамлет, IV, 4.

то заветное, с чем мы соприкасаемся мимолётно, довольствуясь удобными обиняками и старательно избегая заглядывать глубже. Миссис Собрайл жила в пустыне, которую её воля и деньги превращали в цветущий сад. Во сне, когда Собрайл терял всякое представление о соразмерности, мать виделась ему непомерно громадной, под стать непомерно громадной прихожей их особняка: бывало, грозно расставив ноги, она исполински вздымалась над конским выгулом. Мать возлагала на него большие надежды, и пока он их оправдывал, но боялся как-нибудь не оправдать.

\* \* \*

Довольный несомненной удачей, Собрайл вернулся к себе в отель «Баррет». Отель приглянулся ему отчасти своими удобствами, но больше потому, что здесь в своё время останавливались многие американские писатели, приезжавшие повидаться с Падубом. Собрайла дожидалась груда писем, среди них – письмо от матери и записка Аспидса, в которой тот сообщал, что не считает нужным пересматривать свои примечания к третьему стихотворению цикла «Аск – Эмбле» в свете новых разысканий Собрайла о ландшафте Исландии. Тут же лежал каталог «Кристи»: на продажу выставались раритеты Викторианской эпохи, в том числе игольник, по преданию принадлежавший Эллен Падуб, и перстень какой-то вдовы-американки из Венеции, в котором под выпуклым стеклом хранились, как утверждалось, несколько волосков Падуба. В Собрании Стэнта имелось несколько прядей из этой буйной шевелюры, срезанных в разные годы: пожухшая чёрная, такая же чёрная, но впроседь и, наконец, посмертная, серебристая – самая сохранная, самая блестящая. Оспаривать перстень будут, наверно, Музей Падуба и Дом-музей Падуба в Блумсбери – ну и Собрайл, разумеется, – и игольник вместе с перстнем упокоятся в стеклянной восьмиугольной комнате в самом центре Стэнтовского собрания, где в кондиционируемом безмолвии копятя реликвии, связанные с Падубом, его женой, родными и знакомыми. Сидя за стойкой бара в высоком кожаном кресле возле играющего отсветами камина, Собрайл читал письма, и вдруг перед ним на миг возник белый храм, осиянный солнцем пустыни: прохладные дворики, высокие лестницы, соты безмолвных стеклянных келий, оборудованные рабочими кабинками, а выше – сообщающиеся друг с другом книгохранилища и кабинеты; каркасы сотов сверкают позолотой, в сосредоточенной тишине горят снопы и столбы света, а в них взвиваются и опускаются позолоченные коконы, перенося вверх и вниз учёный люд.

\* \* \*

Закончить дело с покупками, а потом пригласить в ресторан Беатрису Пухова, размышлял Собрайл. И ещё повидаться с Аспидсом. Тот наверняка скажет что-нибудь пренебрежительное об исландских наблюдениях. Аспидс, помнится, не выезжал за границу уже много лет – разве что на международные конференции по викторианской поэзии, которые проводились в неотличимых друг от друга аудиториях, куда его доставляли автомобилем из неотличимых друг от друга отелей. Он, Собрайл, в противоположность Аспидсу, давно ездил по маршрутам путешествий Падуба. Ездил, не придерживаясь хронологии путешествий, а как придётся, так что местом назначения первой его экспедиции стало побережье и болотистые равнины Северного Йоркшира: Падуб побывал там в 1859 году – прогуливался в одиночку по окрестностям, любительски изучал морскую флору и фауну. В 1949 году Собрайл повторил его путешествие. Он разыскивал те же пабы и геологические формации, те же построенные римлянами дороги и жемчугоносные ручьи, останавливался в Заливе Робин Гуда, пил отвратительное на вкус тёплое тёмное пиво, ел неудобоваримую тушёную шею барашка, жевал, давясь, рагу из требухи. Позже он отправился по следам Падуба в Амстердам и Гаагу, проехал его путём по Исландии,

осматривая гейзеры и бурлящие круглые озера горячей грязи и размышляя над двумя произведениями, которые были созданы под впечатлением памятников исландской литературы. Это были «Рагнарёк», эпическая поэма, отразившая сомнения и отчаяние человека Викторианской эпохи, и лирический цикл «Аск – Эмбле», загадочные любовные послания, опубликованные в 1872 году, но написанные, по всей видимости, гораздо раньше – возможно, в ту пору, когда Падуб ещё только добивался руки Эллен Бест, дочери настоятеля из Кэлверли: Падуб ухаживал за ней целых пятнадцать лет, и она либо её родственники дали согласие на брак лишь в 1848 году. Аспидс, по чьей милости издание Полного собрания сочинений движется черепашими темпами, и тут верен себе: он только сейчас удосужился обратить внимание на исландские наблюдения Собрайла, которые тот опубликовал ещё в шестидесятые годы. В 1969 году Собрайл выпустил биографию Падуба «Великий Чревовещатель», позаимствовав заглавие из одного головоломного поэтического монолога Падуба, не то исповеди, не то самопародии. Прежде чем взяться за книгу, Собрайл побывал всюду, где пролегали маршруты самых значительных путешествий Падуба: он посетил Венецию, Неаполь, поднимался в Альпы, заглянул в Шварцвальд и на побережье Бретани. Напоследок он проехался по тем местам, через которые Рандольф и Эллен Падуб проезжали летом 1848 года во время свадебного путешествия. По бурному морю молодожёны на пакетботе пересекли Ла-Манш, экипажем добрались до Парижа (Собрайл проделал этот путь в автомобиле) и сели на поезд до Лиона, а оттуда пароход по Роне доставил их в Экс-ан-Прованс. На протяжении всего плавания хлестал дождь. Предприимчивый Собрайл, чтобы проплыть этим же путём, устроился на плавучий лесовоз, пропахший смолой и нефтью. С погодой повезло: над жёлтой водой ярко сияло солнце – длинные жилистые руки Собрайла даже обгорели. В Эксе он поселился в гостинице, где останавливался Падуб, и принялся осматривать те же достопримечательности, что и он. Кульминацией путешествия стало посещение Воклюзского источника, где шестнадцать лет в думах о своей неземной любви к Лауре де Сад уединенно прожил поэт Петрарка. Что дало Собрайлу это посещение, видно из его описания источника в «Великом Чревовещателе».

Итак, погожим июньским днём 1848 года поэт со своей молодой женой шёл тенистым берегом реки к пещере, заключающей в себе истоки Сорги: грозная, величественная картина, которая не оставит равнодушным даже самого требовательного по части романтики путешественника. Особенно если он вспомнит о великом подвижнике куртуазной любви Петрарке: именно здесь его душу наполняло благоговейное чувство, здесь терзался он, получив известие, что его возлюбленная умерла от чумы.

Сегодня на спекшихся от зноя берегах негде шагу ступить. Приехавшему с севера приходится продираться сквозь толпу: туристы, твякующие спаниели, размахивающие лапами дети, торговцы сахарной ватой, назойливые продавцы аляповатых сувениров и сотнями производимых «изделий народного творчества». Плотины и водоотводные сооружения смирили нрав реки, однако, как сказано в путеводителе, в половодье она и сегодня затопляет пещеру и окрестности. Паломник к литературной святыне должен преодолеть все препятствия, и наградой ему станет волшебное зрелище: зелёные воды, угрюмые скалы, которые, как им и положено, мало изменились с тех пор, как ими любовались наши путешественники.

Вода в пещере не иссякает: её приносит довольно мощная подземная речка; сюда же стекают дождевые воды с Воклюзского плоскогорья и каменистых склонов Монт-Венту – Горы Ветров, как называл её Петрарка, отмечает Рандольф в одном письме. Должно быть, при виде этого величественного потока ему вспомнилась священная река Альф из Кольриджа «Кубла Хана», а может, бьющий на Парнасе Кастальский ключ.

Да и как было не вспомнить о Парнасе, если здесь всё вокруг напоминает о Петрарке – поэте, который так ему дорог, чьи сонеты, посвящённые Лауре, отозвались, как предполагают, в стихотворных посланиях к Эмбле.

Вокруг входа в пещеру выблюются ветви смоковниц и бахромой висят причудливые корни. Зелёный ковёр водорослей, словно сошедший с картины Милле или Холмана Ханта\*, вбирает выбегающий из пещеры поток. Из воды поднимаются несколько белых валунов. Эллен восхитилась красотой этих «*chiare, fresche e dolci acque*»,<sup>53</sup> и тогда Рандольф поступил красиво: он подхватил её на руки, шагнул в воду и усадил молодую жену, словно верховную русалку или богиню реки, на белый валун, высящийся посреди потока. Представим себе эту картину: вот она сидит, поддёрнув юбки, чтобы не замочить подол, и застенчиво улыбается из-под капора, а Рандольф взирает на ту, что теперь принадлежит ему, – ту, что совсем не похожа на возлюбленную Петрарки. Смотрит на женщину, которую он, несмотря на все препоны и трудности, боготворил издавна почти столько же лет, сколько продолжалось в этих самых местах любовное подвижничество поэта былых времён.

В отличие от своих современников, в первую очередь профессора Габриеля Россетти, отца поэта Данте Габриеля, Падуб всегда считал, что Лаура Петрарки, Беатриче Данте, Фьяметта,<sup>54</sup> Сельваджа<sup>55</sup> и другие фигуры, ставшие символами куртуазной платонической любви, были реальными женщинами, непорочными, но вызывавшими при жизни вполне земные чувства, – а вовсе не аллегорическими изображениями политической жизни Италии, или церковного правления, или даже души их создателей. Петрарка впервые увидел Лауру де Сад в 1327 году в Авиньоне и полюбил её с первого взгляда, и, хотя Лаура осталась верна Уго де Саду, поэт сохранил эту любовь на долгие годы. Падуб с негодованием писал Рескину, что только человек, не понимающий природу любви и поэтического воображения, может предположить, будто оно способно разрешиться отвлечённой аллегорией, будто на самом деле его питает не «тепло воплощённой души во всей её чистоте и бренном полноцветии». Вся его собственная поэзия, добавлял он, навеяна «такими вот воплощёнными истинами, неповторимыми и необычными жизнями».

Стоит ли удивляться, что Падуб, с таким пониманием относившийся к поклонению Петрарки, почтительно сносил благочестивые колебания или капризы Эллен Бест и её отца. Когда их знакомство только начиналось, Эллен, если верить её родным и самому Падубу, была хрупкой миловидной девушкой, набожной и благородной. Как я уже показал, настоятель не зря опасался, что Падуб не сможет обеспечить супругу, а к его опасениям добавлялись опасения Эллен, усмотревшей в «Рагнарёке» сомнительные с христианской точки зрения мысли. Судя по их переписке за эти годы (от которой, к сожалению, осталось немного: Надин, сестра Эллен, после её смерти явно распорядилась письмами самым бесперемонным образом), Эллен с Падубом не кокетничала, но и глубоких чувств к нему не питала. Однако к тому времени, как она решилась отдать ему руку и сердце, её положение было

<sup>53</sup> «Светлые, свежие и сладкие воды» (ит.), начало CXXXVI канцоны Петрарки.

<sup>54</sup> Фьяметта – героиня ряда произведений Дж. Боккаччо. Считается, что в этом образе отразились черты возлюбленной писателя Марии д'Аквино.

<sup>55</sup> Сельваджа – возлюбленная поэта «сладостного нового стиля» Чино де Пистойи (1270/75–1326/37), воспетая в его произведениях.

незавидным: младшие сёстры, Вера и Надин, уже составили себе хорошие партии, она же сидела в старых девах.

После всего сказанного сам собой возникает вопрос: какие же чувства испытывал пылкий поэт-воздыхатель к своей целомудренной невесте, тридцатидвухлетней тётушке, вечно пекущейся о племянниках и племянницах? Был ли он так же неискушён в делах любовных, как она? Как переносил он затянувшееся воздержание? – спросит недоверчивый читатель XX века. Хорошо известно, что многие именитые викторианцы тайком отводили душу с вульгарными особами из самых низов общества, разбитными, размалёванными обольстительницами, которые поднимали содом и липли к прохожим на Пиккадилли, с заблудшими белошвейками и цветочницами, с «падшими женщинами», что умирали в подворотнях, клянчили на пропитание у Генри Мэйхью\* или, если повезёт, возвращались на путь истинный стараниями Чарльза Диккенса и Анджелы Бердетт-Куттс\*. Поэзия Падуба – и, шире, викторианская поэзия вообще – свидетельствует о сексуальном опыте и трепете чувственности. Аристократы эпохи Возрождения в поэмах Падуба, несомненно, люди из плоти и крови, его Рубенс знает толк в пышных телесах, а тому, от чьего имени написаны послания к Эмбле, знакома не только идеальная, но и земная любовь. Мог ли такой человек довольствоваться чисто платоническим томлением? Не крылась ли за суховатой приветливостью Эллен Бест, уже поутратившей девичью свежесть, нечаемая ответная страсть? Вполне возможно. До нас не дошло никаких сведений о том, что до брака – и уж тем более после – Рандольф заводил любовные пашни: сколько можно судить, он всегда оставался *preux chevalier*.<sup>56</sup> Что они испытывали друг к другу в ту минуту, эти двое, поглощённые своими мыслями, вдали от всего света, – что они чувствовали, когда он, обвив руками её ладную талию, вознёс её на каменный престол? Может быть, накануне они провели упоительную ночь? Эллен писала домой, что супруг – «сама деликатность»: фраза, которой можно дать разные толкования.

Лично я склоняюсь к объяснению, которое зиждется на двух плодотворных, но одинаково непопулярных сегодня предпосылках: упомянутой выше идеализации куртуазных поэтов и теории сублимации, разработанной Зигмундом Фрейдом. За годы, ушедшие на то, чтобы добиться руки Эллен, Рандольф Генри Падуб написал ни много ни мало:

283 369 стихотворных строк, в том числе эпическую поэму в двенадцати книгах, 35 поэтических монологов, касающихся самого широкого круга тем – от истории глухой древности до спорных вопросов богословия и геологии его времени; 125 лирических стихотворений и три драмы в стихах: «Кромвель», «Канун Варфоломеевой ночи» и «Кассандра», поставленные в Друри-Лейн,<sup>57</sup> но не имевшие успеха. Он уходит в работу с головой, засиживается за полночь. Он блаженствует: его Эллен – источник чистоты, она являет всё очарование молодости, рядом с ней дышится несравненно легче, чем в мире, созданном его воображением, – кровавом, зачумлённом, где бушуют альковные неистовства Борджиа, где, как в «Рагнарёке», «лишь жиж серная взамен земли угасшей». Он даже не задумывается, не отнимает ли это целомудренное ожидание, это деятельное отшельничество у него права называться мужчиной. Он

<sup>56</sup> Благородный рыцарь (фр.).

<sup>57</sup> Друри-Лейн – один из старейших лондонских театров.

будет работать, он добьётся её руки... Его надежды сбылись. И если из написанного позже «Запечатанного источника», из «Женщины на портрете» – поэмы о красоте, навеки запечатлённой на холсте и увядающей в жизни, – явствует, что чересчур затянувшееся любовное послушничество обошлось Рандольфу дорогой ценой, это всё же не опровергает мою догадку. И не эти произведения помогут нам разобраться, какие чувства владели молодожёнами в тот солнечный день у сумрачной пещеры, где бьёт Воклюзский источник.

Мортимер Собрайл поднялся в свой уютный номер и перечитал фотокопии писем. Потом позвонил Беатрисе Пухова. В трубке раздался её глуховатый ватный голос. Услышав о приглашении, она, как всегда, растерялась и пошла сыпать робкими отговорками, но потом, тоже как всегда, согласилась. Собрайл уже убедился, что лестью мисс Пухова не проймёшь, тут надо бить на совесть.

– Мне бы навести пару справок. Очень конкретные вопросы, кроме вас, никто не ответит... На вас вся надежда... В другое время у меня не получится. Впрочем, конечно, раз вы не можете, я всё переиграю... Помилуйте, Беатриса, как же мне под вас не подстраиваться? У вас и так напряжённый график, а тут ещё я...

Разговор затянулся. И совершенно напрасно: исход его был ясен с самого начала.

Потом Собрайл отпер кейс, отложил письма Падуба к крестнице – вернее, их украденные изображения – и достал снимки другого рода. Их у него была целая коллекция, богатая и разнообразная, насколько вообще может быть разнообразным (за счёт ли замены обнажённой натуры, изменения оттенков, ракурса, рельефности деталей) это нехитрое, по сути, занятие, возня. У Собрайла были свои способы сублимации.



## Глава 7

*Мужчина свой крест  
Стягает повсюду:  
Во храме, в пустыне,  
Средь шумного люда.  
Наш крест, заповеданный  
Роком суровым, —  
Томиться во мраке  
Под собственным кровом.*

*Кристабель Ла Мотт*

Когда кто-нибудь вспоминал Беатрису Пухова — а её мало кто вспоминал, — в воображении рисовался её не духовный, а физический облик. Женщина она была, что и говорить, плотная, но тем не менее бесформенная: породное тело, отяжелевшие от малоподвижной жизни бёдра, необъятная грудь, над которой расплывалось благодушное лицо, на голове сидела мохеровая шапочка, выющиеся волосы, похожие на густое руно, заплетены и уложены в пучок, из которого во все стороны выбиваются прядки. А уж если кто-нибудь из числа немногих знакомых Беатрисы — Собрайл, Аспидс, Роланд, лорд Падуб, — вспомнив её, ещё о ней и задумывались, то почти непременно уснащали её каким-то сравнением. Мортимеру Собрайлу, как уже говорилось, она представлялась кэрролловской Белой Овцой, вечно мешающей достичь цели. Аспидс в сердцах сравнивал её с жирным, белеющим в темноте пауком: затаилась в своём логове, раскинула сеть и ждёт, не дрогнет ли где-нибудь нить. Феминисткам, то и дело пытавшимся подобраться к дневникам Эллен Падуб, она воображалась приставленным к кладу осьминогом, таким океанским Фафниром,<sup>58</sup> который намертво обвился вокруг заветного сокровища и, чтобы скрыть своё местопребывание, выпускает клубы чернил или какого-нибудь водяного дыма. Впрочем, когда-то были у неё и такие знакомые, которые её понимали, — и лучше всех понимал её, кажется, профессор Бенгт Бенгтссон. Беатриса слушала его курс в лондонском Колледже Принца Альберта в 1938–1941 годах. Время было беспокойное, юноши со старших курсов уходили на фронт, город бомбили, продовольствия не хватало. Некоторые женщины в ту пору неожиданно открывали для себя прелести свободы и пускались во все тяжкие. Беатриса открывала для себя профессора Бенгтссона. В колледже он возглавлял кафедру английского языка и литературы. Больше всего его занимала «Эдда» и древнескандинавская мифология. И Беатриса принялась за их изучение. Она штудировала труды по филологии, рунические надписи, англосаксонскую и средневековую латинскую литературу. Она читала Мейсфилда\*, Кристину Россетти, де Ла Мара\*. Бенгтссон указал ей на «Рагнарёк»: как-никак Р. Г. Падуб был заметным в своё время учёным и считался предтечей современной поэзии. Долговязый, нескладный, в глазах огонь, Бенгтссон излучал такую кипучую энергию, что грех было расходовать её лишь на приобщение молоденьких студенточек к тонкостям культуры их скандинавских предков. Правда, девичьим душам, не говоря уж о телах, испытать её кипение на себе не довелось: профессор ежедневно растрачивал её в пабе «Герб Арунделя» в компании себе подобных. Наутро из-под соломенной кровли волос смотрело бледное, покрытое испариной лицо, а после обеда, когда профессор, источая запах пива, сидел в своём душном кабинете, щёки его пламенели, а язык заплетался. Беатриса читала «Рагнарёк», «Аск — Эмбле». Она получила диплом с отличием и влюбилась в Рандольфа Генри Падуба. В те годы такая влюб-

---

<sup>58</sup> Фафнир — в скандинавской мифологии и эпосе дракон, стерегущий чудесный клад.

лённость была делом обычным. «Есть поэты, – писала она в дипломной работе, – чья любовная лирика – не дифирамбы или укоры, обращённые к даме сердца, а настоящий разговор мужчины с женщиной. Таким поэтом был Джон Донн, хотя сгоряча ему ничего не стоило ополчиться на всех женщин разом. Таким, если бы обстоятельства сложились удачнее, мог бы стать Мередит. И если мы на минуту задумаемся об этих мастерах „любовной лирики“, чьи стихи, по существу, говорят о стремлении автора вызвать возлюбленную на разговор, мы убедимся, что первенство среди них принадлежит Рандольфу Генри Падубу: в цикле „Аск – Эмбле“ изображены все оттенки задушевности, нарастание разлада, безнадежные попытки найти общий язык, – и читатель постоянно ощущает, что послания адресованы живой женщине – женщине со своими чувствами и мыслями».

Беатриса терпеть не могла писать. В этих правильных пресных рассуждениях она гордилась только одним словом: «разговор» вместо более употребительного в таких случаях «диалога». Чего бы не отдала она в те годы ради такого *разговора*! Когда она читала эти стихи, её не оставляло смутное впечатление, что она подслушивает чужую беседу, учтивую и в то же время дышащую страстью. Подслушивать было неловко, а подслушанное отдавалось болью – вот отношения, о каких, наверно, мечтает каждая. Но, оглядываясь вокруг – на своих родителей, степенных методистов, на миссис Бенгтссон, заправлявшую в колледже «Женским чайным клубом», на своих сокурсниц, терзающихся в ожидании, чтобы их пригласили потанцевать или перекинуться в вист, – Беатриса видела, что такие отношения не даются никому.

Мы переменим мир, вложив в слова  
Лишь нам с тобой понятные значенья.  
Пусть новосозданная речь чужим  
Холодной кажется: «гора», «река»,  
А мы – мы видим пламя в небесах:  
Светило, солнце, чьё угодно солнце,  
Но здесь, сейчас – лишь наше...

Так говорил ей Падуб, и она его услышала. Услышать такое от других она и не надеялась – и, как оказалось, правильно, что не надеялась. Профессору Бенгтссону она объявила, что выбрала темой своей диссертации цикл «Аск – Эмбле». Выбор показался Бенгтссону не очень удачным. Материал ненадёжный, вроде сонетов Шекспира: как бы не увязнуть. И что это получится за «вклад в науку», на какие результаты можно рассчитывать? Нет, самый верный способ получить учёную степень – издать собрание чьих-нибудь сочинений, считал профессор Бенгтссон. Только не Р. Г. Падуба. Но один приятель Бенгтссона, знакомый с лордом Падубом, рассказывал, что тот передал на хранение в Британский музей архивы поэта и его жены. Эллен Падуб, как известно, вела дневники. Вот их бы и издать: материал определённо неисследованный, имеет некоторую научную ценность, сложности не представляет и притом касается Падуба. Эта работа поможет мисс Пуховер создать себе отличную научную репутацию – а там можно приниматься и за другие исследования...

Так всё и началось. Мисс Пуховер устроила себе закуток возле коробок с бумагами Эллен: письмами, счетами от прачки, рукописными поваренными книгами, томами дневников и тетрадками с обрывочными записями более личного характера. На что она рассчитывала? Ей хотелось хоть немного сблизиться с автором этих стихов, человеком изощрённого ума и страстного темперамента.

Нынче вечером Рандольф читал мне сонеты из Дантовой «Новой жизни». Они поистине прекрасны. Рандольф указал на их подлинно мужскую

силу и страстность – языка Данте, на его одухотворенное понимание любви. Кажется, эти гениальные творения никогда не наскучат.

Рандольф читал жене вслух всякий раз, когда они проводили время вместе. Юная Беатриса всё пыталась представить, как звучали стихи в его чтении, но из тусклых однообразных восторгов Эллен Падуб ничего определённого не вырисовывалось. Эллен обо всём на свете отзывалась с неизменным дежурным благодушием. На первых порах оно Беатрисе раздражало, но потом, увлечшись материалом, она смирилась с этой чертой. Притом в записях Эллен она стала различать и другие, не столь благодетельные нотки.

Где взять слова, чтобы воздать Рандольфу за ту бесконечную доброту и терпение, с каким он принимает моё малодушие и несовершенства!

Такое – или примерно такое – звучало в дневниках то и дело, как мерные удары колокола. Как и во всякой продолжительной работе, при всяком длительном знакомстве с кем-то или чем-то, Беатриса сперва приглядывалась и составляла собственное, независимое мнение: на этом этапе Эллен казалась ей безалаберной и неинтересной. Но потом Беатриса сжилась с её заботами, стала проникаться её состоянием, когда Эллен дни напролёт изнывала в бездействии в комнате с опущенными шторами, вместе с Эллен тревожилась, не повредит ли мучнистая роса давным-давно отцветшим розам, не впадут ли в безверие притесняемые приходские священники. Эта жизнь стала ей близка, и когда Аспидс однажды заметил, что человеку с таким интересом к любым проявлениям жизни Эллен была женой неподходящей, Беатриса чуть не бросилась на её защиту. Она понимала, что такое тайна личной жизни, которую Эллен при всём своём незамысловато-велеречивом многословии, можно сказать, оберегала.

Но ничего диссертабельного в дневниках не обнаружилось. Будь на месте Беатрисы какая-нибудь феминистка или какой-нибудь лингвист, чья специальность – эвфемизмы или косвенные утверждения, они нашли бы о чём писать. А мисс Пухова учили выискивать всюду лишь следы чужих влияний и иронию, в дневниках же ни того ни другого почти что не было.

Профессор Бенгтссон предложил ей заняться сопоставлением Эллен Падуб с Джейн Карлейль, леди Теннисон и миссис Гемфри Уорд в плане их супружеских достоинств. «Вам, мисс Пухова, нужны публикации, – объявил он с лучезарно-ледяной категоричностью. – Если вы, мисс Пухова, не докажете свою профессиональную пригодность, я не смогу предоставить вам работу». И мисс Пухова в два года написала книжицу под названием «Спутницы жизни» – о повседневной жизни жён гениальных людей. Тогда профессор Бенгтссон взял её на должность младшего преподавателя. Годы преподавания стали для неё и радостью, и пыткой – больше радостью, чем пыткой. Перед ней сидели студенты, вернее, в основном студентки: в пятидесятые годы – жёстко накрахмаленные юбки-колокольчики и накрашенные губки, в шестидесятые – мини и индейская бахрома, в семидесятые – чёрная губная помада и пышные прерафаэлитские начёсы на голове, ароматы детского лосьона, душок конопли, мускуса, честного феминистского пота, – а Беатриса рассказывала им об эволюции сонетной формы, о сущности лирики, об изменении образа женщины в литературе. Это время она вспоминала с удовольствием. О мрачной поре, пришедшей ему на смену, вспоминать не хотелось. Беатриса отошла от преподавания, не дожидаясь пенсионного возраста, и больше не переступала порога своего колледжа. (Профессор Бенгтссон уволился в 1970 году и в 1978 году скончался.)

Личной жизни у Беатрисы не было почти что никакой. В 1986 году она жила в Мортлейке, в маленьком домике, где поселилась много лет назад. Поначалу к ней то и дело заходили компании студентов, но когда Бенгтссона сменил Аспидс и Беатриса стала замечать, что в академических дискуссиях на кафедре её тема всплывает всё реже и реже, эти посещения пошли на убыль. С 1972 года студенты к ней вообще не заглядывали. Беседы за кофе с пирожными и бутылкой сладкого белого вина прекратились. В пятидесятые-шестидесятые студентки воспринимали отношение Беатрисы как материнскую заботу. Молодёжь последующих поколений счи-

тала её лесбиянкой, даже подводила теоретическую базу: подавленные, упорно неизживаемые лесбийские наклонности. На самом же деле всякие мысли о собственной сексуальности у Беатрисы непременно заканчивались терзаниями из-за огромной, прямо-таки неприличной величины её груди. В юности она не носила бюстгалтера, груди свободно покоились под широкой блузкой: лучшие тогдашние врачи считали, что от этого грудь сама собой укрепляется. Вместо этого груди безнадежно обвисли. Другая щеголяла бы таким бюстом, выставяла бы два пышных кургана, разделённые ложбинкой, как предмет особой гордости. Беатриса Пухова прятала груди в мешковатый старушечий корсаж, а поверх надевала джемперы ручной вязки с ажурным узором в виде слезинок, который на теле немного растягивался и делался ещё более сквозистым. По ночам, лёжа в постели, она чувствовала, как увесистые груди растекаются по широкой грудной клетке. А в своей конурке с бумагами Эллен Падуб она ощущала, как живая тяжесть груди, укрытая в шерстяном тепле, трётся о край стола. Она казалась себе несуразно распухшей и разговаривала со всеми смущённо потупившись, избегая взглядов. Из-за этих-то дебелых округлостей она и приобрела репутацию сердобольной мамашки: стереотип восприятия срабатывал мгновенно; этот же самый стереотип подсказывал, что её круглое лицо и румяные щеки – признак добродушия. Но когда она достигла известного возраста, эти самые признаки добродушия стали так же без всяких оснований трактоваться как указание на зловещую и деспотическую натуру. Беатриса недоумевала, отчего это коллеги и студенты теперь держатся с ней несколько иначе. А потом смирилась.

\* \* \*

В тот день, когда Мортимер Собрайл должен был повести Беатрису в ресторан, к ней заглянул Роланд:

– Не помешал, Беатриса?

Беатриса заученно улыбнулась:

– Нет, ничего. Я просто задумалась.

– У меня возникли кое-какие неясности. Не поможете? Вы, случайно, не знаете, Эллен Падуб нигде не пишет про Кристabelle Ла Мотт?

– *Не помню.* – Беатриса сидела и улыбалась, как будто если её память не выдала искомых сведений, то больше и говорить не о чем. – Нет, по-моему, нигде не пишет.

– А можно как-нибудь проверить?

– Могу посмотреть у себя в картотеке.

– Огромное вам спасибо.

– И что именно мы ищем?

Роланда охватило не раз испытанное сильное желание встряхнуть, растормошить, подстегнуть Беатрису, сидевшую как статуя с этой своей водянистой неловкой улыбкой.

– Да всё, что попадётся. У меня есть данные, что Падуб интересовался Ла Мотт. Вот хочу проверить.

– Могу посмотреть в картотеке. Знаете, а в обед придёт профессор Собрайл.

– Надолго он к нам в этот раз?

– Не знаю. Он не говорил. Сказал, что заедет после «Кристи».

– Можно я сам посмотрю картотеку?

– Ой, прямо не знаю, там такой кавардак. Понимаете, у меня *своя система* записи. Лучше я сама, я-то свои каракули разберу.

Беатриса нацепила очки для чтения: они висели на цепочке из позолоченных шариков на удручающих Беатрису выпуклостях. В очках она Роланда вообще не видела: обстоятельство отчасти отрадное, потому что всякий мужчина, работавший на некогда её родной кафедре, казался ей гонителем – она и не подозревала, что положение Роланда в колледже непрочно

донельзя и на стопроцентного сотрудника кафедры он не тянет. Она принялась рыться у себя на столе, отодвинула увесистую сумочку с рукоделием, оснащённую деревянной ручкой, несколько нераспакованных пачек книг в выцветающей обёрточной бумаге. Перед ней высилась целая крепостная башня из обшарпанных и запylённых каталожных ящичков. Пролитывающая карточки, Беатриса бормотала себе под нос:

– Нет, в этом хронология... Нет, это круг чтения... Нет, тут домашнее хозяйство... Куда это сводный каталог подевался? Я, понимаете, ещё не все тетради обработала, занесла кое-что на карточки, но не всё, тут ведь столько работы. Приходится и раскладывать по хронологии, и расписывать по рубрикам... Вот родня из Кэлверли... Нет, не то. Может, здесь? Нет, про Ла Мотт ничего. Хотя постойте-ка... Вот. Перекрёстная ссылка. Посмотрим теперь картотеку по кругу чтения. Тут у меня такая хитрая система, с этим кругом чтения. Ну так вот. – Она вытащила из ящичка желтеющую карточку с измочаленными уголками, чернила на ворсистой бумаге расплылись.

– Так вот, в тысяча восемьсот семьдесят втором году она читала «Фею Мелюзину».

Беатриса сунула карточку на место, снова уселась в кресло и взглянула на Роланда с той же тусклой вымученной улыбкой. Роланд чувствовал, что в тетрадях имеется целый ворох неотмеченных упоминаний о Кристабель Ла Мотт, ускользнувших из сети рубрикации, которую раскинула Беатриса. Он не отставал:

– Можно *посмотреть*, что она там написала? Это может быть... – он отмёл слово «важно», – это может мне пригодиться для работы. Сам я «Мелюзину» не читал. О ней, кажется, сейчас снова заговорили.

– А я в своё время за неё принималась, раза два-три. Страшно тяготно и непонятно. Готика, прямо викторианская готика. Какая-то *диковатая*, словно не женщина писала.

– Беатриса, вы мне покажете эту запись миссис Падуб?

– Минуточку. – Беатриса поднялась из-за стола и сунула голову в тёмное нутро металлического, цвета хаки, шкафа, где лежали дневники; Роланд увидел перед собой её дебелие ляжки, обтянутые твидом. – Как я сказала? Тысяча восемьсот семьдесят второй? – глухо прокатал в шкафу голос Беатрисы, и она нехотя вытащила нужный том в кожаном переплёте, с алым и фиолетовым форзацами в мраморных разводах. Держа книгу так, чтобы было видно и ей, и Роланду, она стала переворачивать листы. – Вот, – наконец объявила она. – Вот начало. – И она прочла вслух: – «Сегодня я приступила к „Фее Мелюзине“, купленной в понедельник у Хэтчерда. Что-то мне в ней откроется? Пока что одолела лишь изрядно затянутое вступление, которое показалось мне некстати перегруженным учёностью. Дочитала до появления рыцаря Раймондина и его встречи со светозарной дамой близ Источника Жажды Утолимой – это мне понравилось больше. У мисс Ла Мотт несомненный дар повергать читателя в трепет».

– Беатриса...

– И что, вот такие рассуждения вам...

– Беатриса, можно я сам почитаю, выпишу кое-что?

– Дневники отсюда выносить нельзя.

– Я на краешке стола. Не стесню?

– Да нет вроде. Можете взять стул, я только книги с него уберу...

– Давайте я сам...

– Располагайтесь вон там, напротив меня. Сейчас разгребу местечко.

Пока они расчищали место на столе, в дверях появился Мортимер Собрайл. В лучах его светской элегантности обстановка предстала совсем убогой.

– Здравствуйте, мисс Пуховер. Рад вас снова увидеть. Я не слишком рано? Если что, могу зайти попозже.

Беатриса встrepенулась. Со стола соскользнула лежавшая на краю пачка бумаг и веером разлетелась по полу.

– Ах ты, господи! Я уже собралась, профессор, совсем было собралась, да вот мистер Митчелл обратился за справкой... с вопросом...

Собрайл снял с крючка бесформенный макинтош мисс Пухова и помог ей одеться.

– Рад повидаться, Митчелл. Как успехи? Что за справка понадобилась?

На его чётко очерченном лице было написано лишь одно – любопытство.

– Просто проверил, читал ли Падуб кое-какие стихи.

– Так-так. И что за стихи?

– Роланд спрашивал про Кристабель Ла Мотт... Мне что-то ничего в голову не приходило... потом нашлось одно случайное упоминание. Значит, так, Роланд, мы с профессором Собрайлом сходим пообедать, а вы можете работать здесь, только ничего на столе не трогайте и *дайте мне слово*, что ничего отсюда не унесёте...

– Вам бы кого-нибудь в помощь, мисс Пухова. Работы у вас непочатый край.

– Ну нет. В одиночку мне работается *гораздо* лучше. Зачем мне ещё помощники?

– Кристабель Ла Мотт... – задумчиво произнёс Собрайл. – В Стэнтовском собрании есть фотография. Бледный такой снимок. То ли что-то вроде альбинизма, то ли дефект печати. Скорее всего, печать. И вы думаете, Падуб ею интересовался?

– Так, совсем немного. Я просто проверяю. Для порядка.

\* \* \*

Собрайл увёл свою подопечную, а Роланд, пристроившись на краешке стола, принялся перелистывать дневник жены Рандольфа Падуба.

Читаю «Мелюзину». Мастерское сочинение.

Дочитала VI книгу «Мелюзины». В сказке этим попыткам объять всё мироздание как будто бы не место.

Читаю «Мелюзину». Какая продуманность, какая смелость в её замысле! Хотя мисс Ла Мотт и прожила всю жизнь в Англии, взгляд на мир у неё остался, в сущности, французский. Впрочем, в этой прекрасной дерзновенной поэме нет положительно никаких изъянов, в том числе и со стороны нравственной.

А через несколько страниц – неожиданная, необычная для Эллен вспышка.

Сегодня закончила «Мелюзину». Дочитывала это поразительное творение с трепетом душевным. Что мне сказать о нём? Оно поистине оригинально, хотя оценить его публике будет нелегко, ибо оно не делает никаких уступок скудности обывательского воображения, а достоинства его в некотором смысле весьма расходятся с обычными представлениями о том, что должно выходить из-под пера особы слабого пола. Нету здесь ни слащавой истомы, ни застенчивой невинности, ни желания расшевелить чувствительность читателя дамской ручкой в лайковой перчатке – но есть живое воображение, есть сила, есть напор. Как бы описать эту поэму? Она похожа на висящий в сумрачной каменной палате огромный гобелен искусной работы; на нём глухая чащоба, колючие заросли, разбросанные там и тут цветущие поляны – и повсюду мелькают диковинные твари: всевозможные звери и птицы, эльфы и демоны. Во тьме сквозит ясное золото, свет солнца, сияние звёзд, переливаются самоцветы, а то вдруг блеснёт шёлковый локон или чешуя дракона. Вспыхивает молния, играют струи фонтанов. Стихии не знают покоя: огонь пожирает, вода струится, воздух дышит, земля вращается...

Мне пришли на ум гобелены со сценами охоты из «Истории Франклина»<sup>59</sup> и «Королевы фей», где на глазах изумлённого зрителя тканые картины оживают и от удара вытканного меча брызжет настоящая кровь, а в ветвях тканых деревьев стонет ветер.

А сцена, когда маловерный супруг, проделав отверстие, наблюдает, как его «жена-сирена» резвится в купальне? Спросить меня, я бы ответила, что эту картину лучше было бы доверить воображению читателя – как поступил Кольридж со своей Джеральдиной: «Здесь место грёзам, не словам».<sup>60</sup> Но мисс Ла Мотт описывает, не жалея слов, хотя на чей-то вкус это описание может показаться грубоватым, неудобоваримым, и особенно не поздоровится желудкам английских барышень, которые наверняка станут искать в поэме сказочных яств.

Она прекрасна, ужасна, трагична, эта фея Мелюзина, удалена от всего человеческого до последней крайности.

Ужасный хвост, взыграв тугою мощью,  
Взмывает над купелью светлой блески  
Алмазных брызг, и в воздухе недвижимом,  
Сверкая, зыблется завеса влаги.

Пленённый млечной белизною кожи,  
Где, как под снегом, голубели жилки,  
Он не умел заметить красоты  
Чешуй серебристых, гибкого плавила.

Тут едва ли не самый поразительный штрих: эта змея – или рыба – красива!

Роланд, подумывавший было тоже пойти перекусить, отбросил эту мысль и кинулся переписывать этот фрагмент – больше для Мод Бейли: ей наверняка будет интересен женский взгляд на поэму, которой она так увлечена. Да и ему выписка пригодится: кто бы мог подумать, что жена Падуба до небес превозносила женщину, которую Роланд уже считал любовницей её мужа. Переписав отрывок, он стал без всякой цели переворачивать страницы.

Моё нынешнее чтение не знаю почему напомнило мне, как в детстве я читала рыцарские романы и воображала себя одновременно и дамой сердца каждого из рыцарей – непорочной Гиневрой, – и сочинительницей этих историй. Я мечтала быть и Поэтом, и Поэмой. Теперь я ни то ни другое – просто хозяйка дома, где только и обитателей что немолодой поэт (человек устоявшихся правил и доброго, уживчивого нрава, не внушающего никаких опасений), да я, да прислуга нельзя сказать чтобы распущенная. Каждый день я вижу, как Вера и Надин изводят себя и чахнут в заботах о своих отпрысках – и как они сияют материнской любовью и щедро одаряют лаской своих детей. Теперь они не только матери, но и бабки, опекающие и опекаемые. В последнее время я стала замечать, что ко мне исподволь, крадучись возвращается бодрость тела и духа (после пятнадцати лет апатии, на которую обрекали меня мигрени и расстроенные нервы). Поутру я просыпаюсь, можно сказать, полная

<sup>59</sup> «История Франклина» – один из «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера.

<sup>60</sup> Цитата из поэмы С. Т. Кольриджа «Кристабель»: поэт описывает ужас, охвативший юную Кристабель, когда она видит обнажённую грудь Джеральдины, однако описания увиденного в поэме не даётся.

сил и начинаю искать себе занятие. Сегодня, в свои без малого шестьдесят лет, когда я вспоминаю пылкие, честолюбивые мечты своей юности, мне уж и не верится, что девушка, жившая некогда в доме настоятеля, – это я. Неужели это я танцевала тогда в кисейном платье лунного цвета? Неужели это мне тогда в лодке целовал руку джентльмен?

Про желание быть и Поэтом, и Поэмой: пожалуй, написав это, я невзначай открыла что-то важное. Возможно, это желание – мечта всякой читательницы. Читатель-мужчина хотел бы быть поэтом и героем, но в наш невоинственный век поэтические занятия, вероятно, и без того всем представляются деянием достаточно героическим. Кому нужно, чтобы мужчина был Поэмой? А вот девушка в кисейном платье была – пусть не поэмой, но стихотворением: кузен Нед скропал прескверный сонетишко о непорочной прелести её черт и о добродетели, угадывающейся в каждом её шаге. И теперь я думаю: а не лучше ли было уступить желанию стать Поэтом? Правда, с Рандольфом я не сравнилась бы никогда, но ведь с ним никто ещё не сравнился, а значит, это соображение не должно было меня останавливать.

Если бы я хоть немного была ему в тягость, он, наверно, написал бы куда меньше и стихи давались бы ему не так легко. Я вовсе не воображаю себя повитухой его гения, но если я и не помогаю ему, то, не в пример многим женщинам, хотя бы не мешаю. Не бог весть какая заслуга, слишком ничтожное занятие, чтобы отдавать ему всю жизнь. Случись Рандольфу прочесть эти строки, он бы своими шутками положил конец моим тягостным сомнениям, объявил бы, что начать никогда не поздно, попытался бы заполнить всем своим необъятным воображением крохотный просвет, забрезживший с возвратом бодрости, подсказал бы, что делать. Но нет, не прочесть ему этих строк, я сама найду способ... стать хоть чуть-чуть... Ну вот, уже и слёзы, как у девчушки в кисейном платье. Довольно.

Роланд улизнул из Падубоведника и отправился домой, не дожидаясь конца обеденного перерыва, чтобы не нарваться на какой-нибудь щекотливый вопрос Собрайла или Аспидса. Он уж и так злился на себя за то, что по его неосторожности Собрайл услышал имя Кристабель. Этот въедливый зоркий субъект всё берёт на заметку.

\* \* \*

Дома было тихо. Подвал в Патни запахом перекликался с подвалом Британского музея: в воздухе висел тот же кошачий смрад. Зима напоминала о своём приближении ранними сумерками, на стенах выступали темные потёки и завелась какая-то ползучая форма жизни. Обогреть квартиру было не так-то просто. Центрального отопления в доме не было, и Вэл с Роландом, кроме газовой горелки, обзавелись ещё керосиновым обогревателем, так что к дыханию плесени и кошачьему зловонию примешивался запах керосина. Холодного, не горящего – не тот, который обычно сопровождается запахом жареного лука и тёплым душком карри.

Вэл, как видно, ещё не возвращалась. Обогреватель в прихожей бездействовал: отапливать квартиру в своё отсутствие жильцам было накладно. Роланд, не снимая пальто, полез за спичками. Фитиль помещался в колонке, за дверцей из какого-то похрустывающего рогового вещества. Дверца закоптилась и висела на расшатанных петлях. Роланд повернул ключ, вытащил фитилёк, и тот, издав тихое «пых», занялся. Роланд поспешно захлопнул дверцу. Ясное пламя, синее впрозелень, с густо-лиловым отливом: была в этом цвете какая-то первобытная магия.



В прихожей Роланд обнаружил небольшую пачку писем. Два – для Вэл, на одном адрес был написан её рукой. Три – для Роланда: извещение из библиотеки о том, что надо вернуть какую-то книгу, уведомление о получении статьи из какого-то высоконучного журнала. Третье письмо было написано незнакомым почерком.

*Уважаемый доктор Митчелл!*

*Надеюсь, Вы не сочли наше молчание за грубость или что-нибудь похуже. Просто муж, как и собирался, кое с кем консультировался. Он посоветовался с нашим адвокатом, с викарием и с нашей доброй подругой Джейн Энсти, которая когда-то работала заместителем главного библиотекаря графства. Никто ничего определённого не сказал. Мисс Энсти с большой похвалой отзывалась о работе доктора Бейли и об архивах в её ведении. По её мнению, ничего страшного, если мы позволим доктору Бейли познакомиться с нашей драгоценной находкой и дать о ней предварительное заключение: в конце концов, письма наша она. Я обращаюсь и к Вам, поскольку Вы тоже при этом присутствовали и проявляли интерес к Рандольфу Генри Падубу. Как Вы смотрите на то, чтобы приехать к нам и прочесть письма вместе с доктором Бейли или, если у Вас туго со временем, прислать кого-нибудь вместо себя? Я понимаю, что из-за расстояния Вам это будет более хлопотно, чем доктору Бейли, которая живёт как раз поблизости от Круасана. Я готова приютить Вас на несколько дней, хотя это и сопряжено с некоторыми неудобствами: мы занимаем, если Вы помните, только первый этаж, а зимой в старом доме стоит страшный холод. Что Вы на это скажете? Сколько, по-Вашему, времени понадобится на то, чтобы составить представление о нашей находке? Недели достаточно? На Рождество к нам приедут гости, но к Новому году мы никого не ждём – тогда-то Вы и можете совершить набег на Линкольнширское холмогорье.*

*Я до сих пор благодарна Вам за Ваши джентльменский поступок и своевременную помощь тогда, на косогоре. Дайте знать, что Вы в конце концов надумали.*

*Искренне Ваша,  
Джоан Бейли.*

Роландом владели разные чувства. Прежде всего – восторг: он так и видел, как ворох мёртвых писем, встрепнувшись, как большая тёплая орлица, наполняется биением жизни. Испытал он и раздражение: это же он, Роланд, нашёл и похитил письмо, с которого всё началось, – почему же теперь первую скрипку будет играть Мод Бейли? Не давали покоя практические соображения: как бы, приняв полуприглашение Джоан Бейли, устроить так, чтобы хозяева не догадались о его полном безденежье, – а то ещё решат, что такого несолидного человека подпускать к письмам нельзя. Он боялся Вэл. Он боялся Мод Бейли. Опасался Собрайла, Аспидса и даже Беатрисы. Гадал, почему вдруг у леди Бейли возникло то ли предложение, то ли предположение, что Роланд должен прислать кого-нибудь вместо себя: пошутила она, сморозила глупость или ненароком показала, что не вполне ему доверяет? Насколько сердечна её благодарность? Захочет ли Мод, чтобы они читали письма вместе?

Наверху в окне – на уровне тротуара – возник бок красного «порша» с чем-то вроде авиационного элерона и хвостовым стабилизатором. Появились блестящие чёрные туфли, очень мягкие и чистые. Над ними – безупречно отглаженные брюки из лёгкой тёмно-серой шерстяной ткани в тончайшую полоску. Выше – полы куртки изящного покроя на шёлковой алой подкладке, под курткой – рубаша в тонкую белую и красную полосочку. Под рубашой угадывался плоский мускулистый живот. Следом шагали ноги Вэл в зеленовато-голубых чулках и дым-

чато-голубых туфлях, по плиссированному подолу платья горчичного цвета разбросаны голубые лунные цветы. Обе пары ног то приближались, то удалялись, мужские ноги так и тянуло к двери подвала, а женские словно бы противились, уводили спутника подальше. Движимый, как всегда, чистым любопытством, Роланд отворил дверь и вышел на площадку, откуда поднимались ступени на мостовую: ему не терпелось посмотреть, как выглядит мужчина выше пояса.

Плечи и грудь именно такие, как он себе и представлял. Вязаный красный галстук на чёрной шёлковой подкладке. Лицо овальное. Очки в роговой оправе, чёрные волосы пострижены примерно так, как носили в двадцатые годы: сзади и на висках очень коротко, спереди подлиннее.

– День добрый, – сказал Роланд.

– Ой, – сказала Вэл. – Я думала, ты в музее. Знакомься: это Эван Макинтайр.

Эван Макинтайр нагнулся и чинно протянул Роланду руку. Держался он величаво – ни дать ни взять Плутон, примчавший Персефону к вратам подземного царства.

– Вот подвёз Вэл домой. Она неважно себя чувствовала. Я решил, ей лучше полежать.

Звучный, ясный голос, несмотря на фамилию – никакого шотландского акцента, сочный выговор, который Роланд прежде опрометчиво окрестил бы «барственным» и которому он в детстве безуспешно, не без ёрничанья учился подражать; чеканная речь, полная густых, тягучих гласных, – при звуках такой речи у Роланда, вопреки всем законам физиологии, кровь закипала от сословной неприязни. Макинтайр, как видно, ждал, что его пригласят войти, – в старых романах такая непринуждённость преподносилась как черта джентльмена, но Роланд, а возможно, и Вэл увидели в ней беспардонное любопытство, из-за которого им придётся краснеть за свою домашнюю обстановку. Вэл неуверенно поплелась вниз по ступенькам.

– Ничего, скоро поправлюсь. Спасибо, что подбросили.

– Не за что, – ответил Макинтайр и повернулся к Роланду. – Надеюсь, мы ещё встретимся.

– Да, – безучастно отозвался Роланд, глядя, как Вэл спускается по лестнице, и отступая к двери.

«Порш» укатил.

\* \* \*

– Я ему нравлюсь, – сказала Вэл.

– Откуда он такой взялся?

– Я у него подрабатываю машинисткой. Завещания, торговые соглашения. Судебные решения о том-то и о том-то. Он адвокат. «Блоссом, Блум, Тромпетт и Макинтайр». Респектабельный, звёзд с неба не хватает, но очень преуспевающий. В кабинете – всюду фотографии лошадей. Он говорит, что у него есть скаковая лошадь, то есть он её совладелец. Приглашает меня на скачки в Ньюмаркет.

– А ты?

– Можно подумать, тебе не всё равно.

– А тебе бы не мешало съездить куда-нибудь, встряхнуться, – сказал Роланд и тут же пожалел.

– Ты только послушай, как ты со мной разговариваешь. «Тебе бы не мешало...» Как с девочкой.

– Но, Вэл, я же не имею права тебе запретить.

– А я-то ему сказала, что ты непустишь.

– Вэл...

– Надо было сказать, что тебе до лампочки. И поехать с ним.

– Не понимаю, почему ты не поехала.

– Ну, если *не понимаешь*...

– Да что же это с нами происходит?

– Просто в квартире тесно, в карманах пусто, нервы ни к чёрту, а дело молодое. Сбагрить меня хочешь.

– Ты же знаешь, что это не так. Ведь знаешь же. Я люблю тебя, Вэл. Просто тебе со мной несладко приходится.

– Я тебя тоже люблю. Ты прости меня. Я такая вспыльчивая, мнительная.

Вэл ждала. Роланд обнял её. Страсти не было – была воля и расчёт. У него только два выхода: начать выяснять отношения или улечься с ней в постель. Если выбрать второе, то потом можно будет наконец поужинать, весь вечер спокойно работать и завести разговор про поездку в Линкольншир.

– Ужинать пора, – выдавила Вэл.

Роланд взглянул на часы:

– Рано ещё. И потом, мы же не ждём никого. Помнишь, как раньше: делали что хотели, не раздумывая. И часы не указ. Надо пожить в своё удовольствие.

Они разделись, легли, прижавшись друг к другу, и приготовились к неутешительным утехам. Сперва Роланд думал, что ничего не получится: бывают занятия, в которых одной только воли недостаточно. Но стоило ему вспомнить воображённую орлицу и её тёплое оперение – письма, как внутри что-то встрепенулось.

– Мне никто, никто, кроме тебя, не нужен, – проговорила Вэл.

От этих слов трепет почти угас. Возбуждение вновь накрыло, когда перед Роландом возник другой образ: женщина в библиотеке. Не обнажённая, напротив: тело упрятано в шелестящий шёлк; переплетённые пальцы покоятся там, где кончается узкий корсаж и начинаются пышные упругие юбки. Печальное, миловидное лицо, капор, как оправа, охватывает кольца густых локонов. Эллен Падуб, сошедшая с наброска Ричмонда, который воспроизведён в «Великом Чревоушателе» Собрайла. У всех женщин на портретах Ричмонда губы выходили похожими: крепкие и тонкие, строгие и благородные, кое в чём они различались, и всё же проступал тут единый идеальный прототип.

Привидевшийся образ – порождение фантазии и фотогравюры – сделал своё дело. Роланд и Вэл ласкали друг друга. Будет ещё время обдумать, как бы отпроситься в Линкольн, не выдав ни места назначения, ни цели поездки.

## Глава 8

*Снег сыпал днём,  
Всю ночь мело.  
В окне моём —  
Белым-бело.  
А здесь, внутри,  
Поджав крыло, —  
Чей взор горит,  
Что так светло?  
И кто дарит  
Душе тепло?*

*Кристабель Ла Мотт*

Они сидели друг против друга, склонившись над пачками бумаг. В библиотеке стоял пронизывающий холод – Роланду казалось, что ему уже в жизни не согреться, и он с воодушевлением вспоминал разнообразные предметы одежды, которые ему ни разу не довелось носить: вязанные митенки, тёплые кальсоны, закрывающие лицо лыжные шлемы. Мод, собранная, подтянутая, приехала рано: Роланд и хозяйка ещё завтракали. Нарядилась она тепло, в твидовую куртку и шерстяной свитер, светлые волосы, которые вчера, когда она сидела за ужином в холодной гостиной у Бейли, ни под чем не прятались, теперь опять облекал зелёный шёлковый шарф, завязанный под подбородком.

Библиотека располагалась в просторной комнате с каменными стенами и сводчатым потолком, изукрашенным резным густолиственным орнаментом. На каменной облицовке огромного камина, пустого, выметенного, был вытесан родовой герб Бейли: крепкая башня и небольшая рощица. Готические окна выходили на заиндевевшую лужайку. Окна были и обыкновенные – прозрачные стёкла в свинцовых рамах, – и витражные, яркие, в прерафаэлитском вкусе; в центральных медальонах изображалось, как на зелёном холме возводится золотой донжон, обнесённый укреплениями и увешанный нарядными стягами, в медальоне же среднего окна в ворота донжона въезжает кавалькада рыцарей и дам. Поверху витража раскинуло пышные ветви розовое дерево, на ветвях вместе с белыми и алыми цветами висели кроваво-красные плоды. По сторонам же снизу доверху клубились виноградные лозы: в гуще кучерявых отростков и разлапистых, с прожилками листьев лиловели громадные гроздья на золотистых черенках. За стёклами шкафов чинно выстроились книги в кожаных переплётках – к ним, как видно, много лет никто не прикасался.

Посреди комнаты стояли массивный стол с кожаной столешницей в чернильных пятнах и царапинах и два кресла с кожаными сиденьями. Кожа на них, когда-то рыжая, побурела и крошилась: сядешь – на одежде наверняка останется налёт ржавого цвета. В центре стола – чернильный прибор: пустой потемневший серебряный подносик для ручек и два сосуда зеленоватого стекла, на дне которых чернел сухой порошок.

Джоан Бейли, объехав в своей коляске стол, выложила на него пачки писем.

– Надеюсь, тут вам будет удобно. Если что-нибудь понадобится, просите, не стесняйтесь. Я бы растопила камин, да трубы уже лет сто не чищены, как бы вы тут не задохнулись от дыма. Да и дом спалить недолго. Не замёрзнете?

Мод, возбуждённая, ответила, что не замёрзнут. Щёки цвета слоновой кости слегка разрумянились. Как будто по-настоящему жизнь пробуждается в ней лишь при стуже, как будто холод – её стихия.

– Ну тогда я вас оставляю. Работайте. Жду не дожусь каких-нибудь открытий. В одиннадцать сварю кофе. Я вам сюда подам.

\* \* \*

Отношения не клеились. Мод предложила свой порядок работы: каждый читает письма своего поэта и делает выписки, придерживаясь той системы, которую она применяет у себя в Женском информационном центре. Роланд не соглашался. Ему не нравилось, что на него давят, а кроме того, накануне он рисовал себе совсем другую картину – как он теперь понимал, смехотворно романтическую: два исследователя, склонившись над письмами, восстанавливают ход событий и вместе проникаются чувствами своих героев. Он возразил, что, если действовать так, как предлагает Мод, повествование утратит последовательность. Мод же резонно ответила, что сегодня неопределённость и считается достоинством повествовательной структуры, что внести перекрёстные ссылки можно и после, что времени в обрез и что её в первую очередь интересует Кристабель Ла Мотт. Волей-неволей Роланд согласился: времени у них действительно было мало. Они молча принялись за работу. Прерывала их только леди Бейли: то приносила им термос с кофе, то заглядывала узнать, что нового.

– Послушайте, – сказал Роланд, – Бланш носила очки?

– Не знаю.

– Тут сказано, что она «сверкала глазами-стекляшками». Именно так и сказано.

– Может, это про очки, а может, он сравнивает её со стрекозой или ещё каким-нибудь насекомым. Он ведь, кажется, читал стихи Кристабель про насекомых. В то время кто только насекомыми не увлекался.

– А как она – Бланш – вообще выглядела?

– Точно не известно. Мне кажется, она была очень бледная. Впрочем, это, скорее, из-за имени.<sup>61</sup>

\* \* \*

Сначала Роланд работал с каким-то пристальным любопытством, с которым читал всё написанное Рандольфом Падубом. Это было особого рода любопытство – что-то вроде предвосхищения знакомого: Роланд уже знал обычные ходы мысли автора, уже читал те же книги, что и он, уже свыкся с характерным строем фразы, смысловыми акцентами. Он мог мысленно забежать вперёд и угадывать ритм ещё не прочитанного, как писатель различает в сознании призрачный ритм ещё не написанного.

Но скоро – очень скоро – привычная радость узнавания и предугадывания начала сменяться тяжестью. Главным образом оттого, что и автору писем писать их было нелегко: Падуб никак не мог взять в толк, что же это за человек – предмет его любопытства, адресат его писем. Это непостижимое существо выбивалось из его картины мира. Он просил объяснений, а вместо этого ему, кажется, подбрасывали новые загадки. Так как в распоряжении Роланда оказались письма лишь одной из сторон, узнать, в чём же состояли загадки, он не мог и всё чаще поглядывал на сидящую напротив непонятную женщину, которая с молчаливой старательностью и тошнотворной методичностью делала подробные аккуратные записи в разложенных веером карточках и, хмурясь, скрепляла их серебряными крючками и булавками.

Письма, осенило Роланда, – это такая форма повествования, где не бывает развязки. Нынешняя филология сосредоточилась почти исключительно на теориях повествования.

---

<sup>61</sup> Blanche – белая (фр.).

Письма не имеют изначально заданной фабулы, повествование в них само не знает, куда повернёт в следующей строчке. Если бы Мод не обдавала его таким холодом, он поделился бы с ней своим открытием – открытием чисто теоретического свойства, – но она даже не удостоивала его взглядом.

Письмо, наконец, не предназначено для читателей как соавторов или читателей как угадывающей и предсказывающей инстанции – оно вообще не для читателей. Оно – если это настоящее письмо – написано для *читателя*, одного-единственного. Тут Роланда пронзила ещё одна мысль: а ведь прочие письма Рандольфа Генри Падуба этим качеством не обладают. Учтивые, тактичные, часто остроумные, порой глубокие, но ни намёка на непосредственный интерес к адресату, будь то издатель, литературные единомышленники, или противники, или – насколько можно судить по сохранившейся переписке – собственная жена. Которая большую часть писем уничтожила. Эллен Падуб писала:

Страшно представить себе, как хищные руки шарят в письменном столе Диккенса в поисках личных бумаг, где он запечатлел свои интимнейшие чувства – для себя, и только для себя, а не на потребу публики, – а те, кто не удосуживается с должным вниманием перечитать его восхитительные книги, так и пожирают его письма, полагая, что знакомятся так с его «жизнью».

«Вот и эти письма, эти ёмкие, страстные письма, – сконфуженно думал Роланд, – они ведь не для меня писались: это не „Рагнарёк“, не „Духами вожденны“, не поэма о Лазаре. Письма эти – для Кристабель Ла Мотт».

*...Ваш ум, Ваша дивная проникаемость – чтобы я мог писать Вам так, как мне пишется в часы уединения, когда я пишу настоящее – то, что для каждого и ни для кого, – и моё заповедное «я», которое не обращалось ни к одной живой душе, в Вашем незримом присутствии чувствует себя как дома. Но что я говорю – «как дома», вздор, суций вздор: Вам угодно, чтобы я чувствовал себя до крайности *unheimlich**

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.